

ПОБЕГ

Роман¹

ГЛАВА ПЕРВАЯ

<...>

— Надя! Надя-а-а! На...

Обе бросились на крик, и обе столкнулись в дверях.

Одна — в мешковатом, длинном одеянии, то ли платье, то ли рубаше на голое тело, давно не стиранной, то ли в холщовой крестьянской запоне, с крестьянского чужого, чужеродного и, может, даже тошнотворного бабьего плеча: такие старые запыны за версту пахнут кашей, смолой и горелыми головешками, — и эта материя вроде бы так же задушенно пахла; белые тяжелые складки падают от самой неряшливо висячей, под тканью заметно мотающейся, не утянутой в лиф груди; и подол по полу волочится, ноги бегут вроде быстро, семят, а белая грязная ткань волочится медленно; и другая — тоже в белом, но чистом, скрипучем, шелестящем, хорошо простиранном и отглаженном, и это модно пошитая юбка, а под нее заправлена блузка; юбка из белой, крупнозернистой холстины, а блузка шелковая, блестит серебристой, шелково-скользящей устрицей, и на ней, ближе к вороту, черные пуговички аккуратно пришиты. У самого горла, против яремной ямки, одна пуговица расстегнулась, и старая, в грязном балахоне, могла видеть, как у чистенькой, свеженькой молодой на нежной шее, под тонкой кожей билась тонкая синяя, лазуритовая жилка.

Обе женщины бежали к постели, на которой лежал человек.

Он лежал беспомощно и только поводил на подушке голой головой, туда-сюда, и круглые его глаза тоже беспомощно, жалко, как у больной совы, неподвижно глядели из-под громадного, пугающе огромного белого лба на бегущих к нему женщин.

Елена Крюкова — поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Родилась в Самаре. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская консерватория, 1980). Окончила Литературный институт им. Горького (1989), семинар А. В. Жигулина (поэзия). Публикации: «Новый мир», «Нева», «Знамя», «Дружба народов», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Бельские просторы», «Зинзивер», «Слово», «Дети Ра», «Волга», «Юность» и др. Автор книг стихов и прозы (романы «Юродивая», «Врата смерти», «Тибетское Евангелие», «Рай», «Беллона», «Солдат и царь», «Русский Париж», «Пистолет», «Царские врата» и др.). Лауреат премии им. М. И. Цветаевой («Зимний собор», 2010), Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012), премии журнала «Нева» (Санкт-Петербург) за лучший роман 2012 года («Врата смерти», № 9 2012), премии Za-Za Verlag (Дюссельдорф, Германия, 2012). Лауреат региональной премии им. А. М. Горького («Серафим», 2014), Пятого и Седьмого Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» («Старые фотографии», 2014; «Солдат и царь», 2016), Международной литературной премии им. И. А. Гончарова («Беллона», 2015), Международной премии им. А. И. Куприна («Солдат и Царь», 2016). Дипломант литературной премии им. И. А. Бунина («Поклонение Луне», «Беллона», 2015).

¹ Журнальный вариант.

Казалось, лоб его из алебаstra, и если посильнее стукнуть по нему врачевным, для проверки рефлексов, молотком, то тут же разобьется, и осколки разлетятся в стороны, а там, под ними, — пустота.

Обеих женщин звали одним именем — Надежда.

Старая заплетала ногами в расхлябанных мордастых башмаках, молодая бойко бежала в лаковых туфлях на каблуках, цокала ксилофонными каблуками по большой комнате, по блестящему в лучах осеннего солнца паркету, паркет отсвечивал красным, медным светом, будто его залили прозрачной красной краской, и она застыла, как красный лед на закатном катке. К постели обе подбежали одновременно. Так им показало. На самом деле молодая подбежала первой. А старая наступила тяжелой широкой, как лапоть, ногой себе на подол, запуталась в нем и чуть не упала. Молодая быстро обернулась, ловко подхватила старую под мышки. Старая села на краешек кровати, молодая, отпыхиваясь, заправляя прядь жгуче-черных волос за ухо, странно, быстро присела перед изголовьем больного на корточки. И так сидела, чтобы ее голова была вровень с головой больного на подушке.

Она смотрела на него, приближая лицо, ее лицо моталось вблизи его лица, слишком близко.

Старая переводила дух. Выдыхая, она издавала короткий жалобный стон. Вдыхала хрипло, в толстой грузной груди клочкотало и булькало.

Она осторожно взяла белую, будто гипсовую, руку больного, лежащую поверх стеганого толстого одеяла.

— Ва-одя! — сказала она с чуть слышным польским акцентом, когда поляки так ласково и незаметно гладят языком букву «л», будто скользкою устрицей проглатывают ее. — Ва-одичка, ты звал меня?

Молодая совсем близко придвинула свой нежный подбородок к мятой подушке. Больной хотел повернуть к ней все лицо сразу, не только глаза умоляюще скосить, но отчего-то не мог, все силился, а голова не двигалась, и он мог только молча, обреченно косить блестящим и темным, как у лошади, воспаленным, белок в красных прожилках, умным глазом на молодую; до его щеки долетало ее свежее, молодое дыхание.

Молодая поняла его желание. Беззастенчиво, как будто так и надо было сделать, она взяла обеими руками эту голую, лысую белую голову и медленно, осторожно, будто переворачивала что-то стеклянное, хрупкое, повернула ее на подушке. Теперь больной мог видеть обеих женщин.

Человек слегка пошевелил губами, будто бы жевал что-то липкое, сладкое. И в тянучке страдания утонули, увязли его зубы. Он силился улыбнуться. Или что-то сказать. Молодая настороженно следила за усаытым шевелением его рта. Наконец ему удалось чуть приоткрыть рот, и из него опять вылетел, вытолкнутый из недр памяти наружу забытым юным ветром, странно громкий голос, почти крик, почти вопль:

— Надя! Гра... дусник!

Старая обернула довольное, лоснящееся лицо к молодой. Жиром, весельем блестяло ее лицо, солнце заливало комнату, а может, она заплакала от радости и размазала ладонью слезы по щекам и подбородку.

— Он сегодня говорит! Говорит! Надя, говорит! И как связно! Хорошо!

Из ее выпуклых, выгаращенных, как у дохлой рыбы, белых глаз и правда катились по жирно лоснящемуся лицу, по складкам двойного подбородка белые капли слез. Пахло спиртом, и молодая в ужасе подумала: «Из ее глаз катится спирт».

Молодая снова глядела на больного. Ее рука словно сама протянулась, и она погладила алебастровую гигантскую голову за ухом, по полоске потных жидких волос вокруг лысины.

— Сейчас, Владимир Ильич. Не волнуйтесь! Мы измерим вам температуру!

Она встала с корточек быстро, незаметно и неуловимо, будто и не сидела, присев, у кровати. Стояла перед старой, сложив руки на животе, строго и скромно.

— Надежда Константиновна! Взять вон тот градусник?

Молодая кивнула на мензурку, стоявшую на тумбе близ кровати, там из стекляшки с рисками торчал длинный градусник, его кончик был погружен в жидкость; может, из мензурки спиртом и пахло.

Старая раздула ноздри. Складки жирной кожи под подбородком дрогнули. Рот поплыл вбок — так она улыбалась.

— Да, Надежда Сергеевна. Этот.

Молодая протянула руку и выхватила градусник из мензурки. Поднесла к глазам. Стала стряхивать, резко, порывисто. Опять рассматривала придирчиво. Наклонилась над больным и нежно всунула градусник ему в открытый рот.

— Выпадет! — жалко воскликнула старая и взмахнула обеими руками, будто ловила птицу, голубя.

Потом вздохнула и горько выдохнула:

— Раскусит...

И шепнула совсем уж невнятно:

— Отравится ртутью...

Молодая, прищурившись, внимательно, как стрекозу в коллекции, рассмотрела белое скульптурное лицо больного, впалые щеки, приоткрытый рот, прикоснулась пальцем к градуснику, торчащему изо рта. Улыбаясь, повернулась к старой.

— Нет, все хорошо. Я посижу. Я посижу. Вы идите, идите.

Старая, кряхтя, упираясь ладонями в толсто выпирающие под белой юбкой колени, встала, и кровать скрипнула и жалко, коротко ахнула.

Старая стояла, и складки грязного платья, похожего на ночную рубаху, падая вниз от мощной, толстой висячей груди, застыли. И вся она застыла, ледяная. Не шевелилась.

От ее лица исходил непонятный свет. Она стояла спиной к окну, и поэтому вся ее грузная фигура на фоне яркого солнечного окна гляделась черным силуэтом; а толстое лицо почему-то лоснилось и светилось, то вспыхивало, то гасло — мерцало, как лампа, в которую надо было подлить керосину. Она стояла молча, смотрела на молодую, но молодая понимала: хоть ее глаза глядят на нее, ее уши настороженно прядают, она прислушивается и видит ушами, она не глазами, а душой все равно смотрит на больного; на измятую, пропитанную потом подушку; на кривой рот, и чтобы не вывалился на подушку опасный ледяной градусник.

И молодая не шевелилась. Она стояла, выпрямив спину, хотя она могла бы сесть на стул — он стоял рядом с кроватью, но был непонятно повернут сиденьем к двери; может, тут сидел дежурный и, чтобы не заснуть и не пропустить врага, тарачился на закрытую дверь, исправно сторожил лежащего бессильно, то бормочущего, то мирно спящего вождя. Она могла бы сесть на край кровати, так, как недавно сидела старая; а еще она могла бы сесть в кресло — вон оно, у окна, у тяжелых шелковых гардин. Но она не садилась. Она стояла и следила за градусником. Стояла напротив старой, и обе женщины гляделись друг в друга, как в зеркало.

Молодая глядела в лицо старой, с ужасом узнавала там себя и с ужасом думала: «Вот такую я буду».

Старая глядела в лицо молодой, перед нею сквозь амальгаму лет проступал ее собственный облик, и она думала потрясенно и печально: «Господи, ведь я была точно такая же, точно такая».

И обе, глядясь в живые зеркала, думали о живом веселом, разбитном времени.

О пронырливом воришке-времени, что своровало их у их забытых матерей и скоро нагло, походя сворует их у них самих. И продаст память о них на шумном рынке,

и выручит денег, и купит чекушку, и выпьет в тихой подворотне. Налетай, после реформы все подешевело!

Складки холстины падали, текли со старой вниз и упирались в паркет. Белая холщовая юбка молодой топырилась свежо, крахмально, из-под нее видны были тонкие щиколотки в тонких, телесного цвета, фильдеперсовых чулках. Все переживала страна, и холод и голод; а женщины все так же могли и умели одеться, и прихорошить себя, и натянуть тончайшие чулочки, и подмазать губки французским губным карандашом, а если его было не купить нигде, и даже на Кузнецком Мосту, то и морковным соком, а может, свекольным. Природные краски самые лучшие. Жизнь всегда лучше выдумки, лучше использовать жизнь, чем подделку, пуркуа па?

— Наш паровоз, вперед лети! В Коммуне — остановка... — тихо, без голоса прошептали губы молодой.

Старая, не шевелясь, стоя все так же грузно, страшно и неподвижно, перевела глаза на больного.

— Надежда Сергеевна, — сказала она тоже тихо, неслышно. — Вынимайте градусник. Если температура высокая, приглашаем нашего умницу доктора.

Молодая протянула руку. Рука, грациозная, смуглая, с тонкими пальцами, чуть припухшими у ладони и со слишком узкими кончиками, ощупала воздух, покружилась над щеками больного, как бабочка над цветком, раздумывая, сесть или не сесть, и осторожно, медленно вытащила из бессильно открытого рта градусник. Глаза больного следили за всеми движениями молодой. Ловили зрачками ее улетающую руку. Молодая поглядела на градусник.

— Я не вижу, — шепнула она старой, — вы заслоняете мне солнце.

Старая не шевельнулась.

Молодая оторвала от паркета ногу в лаковой черной туфле и сделала резкий, маленький шаг в сторону окна. Всю ее внезапно и быстро залило желтое, золотое молоко света. Она стояла в столбе света, в мелкой солнечной пыли и, склонив черноволосую, гладко причесанную голову, читала градусник, как книгу.

— Тридцать девять, — сокрушенно сказала она, подняв смуглое гладкое лицо к старой. — Какой ужас!

— Ничего ужасного, — выдохнула старая, — разве это в первый раз!

Они обе одновременно поглядели на больного и поняли, что он услышал про температуру.

— Зачем вы сказали...

Старая отерла ладонью блестящие, будто масляные, нос и щеки. Достала из кармана скомканный грязный носовой платок и вытерла потный лоб.

Молодая наблюдала пористое лицо старой. Рытый бархат; дырявая белая шерсть; еще немного, и покрытые коркой воска соты. И пчелы вылетят, кучно жужжащие, мрачные мысли. Больно укусят.

— Простите меня! Я...

Обе замолчали, и каждая думала о своем.

Старая думала: «Надо приказать повару Спиридону Путину сварить сегодня овсяной каши на воде. Спиридон Иваныч всегда отменную овсянку варит. Лучше, чем эта, Евдокия, болтливое помело. И много питья, много, как можно больше. Как остро пахнет от этой пройдохи! Какие острые духи! Мы, в наши времена, так не душились никогда. Это неприлично. Вот устроил все-таки ее сюда Иосиф! Пристроил, воткнул! И надо терпеть. А ведь она мне очень помогает. Она безотказная, как больно битая, вышколенная служанка. Она может не спать ночами, дежурить. А утром свежая, как огурчик, даже злость разбирает. Она помогает и Фотиевой, и этой усатой еврейке Гляссер. Еврейка тут только воду мутит. Неведомую рыбку в мутной водичке пытается

поймать. Может, шпионит? Ее надо бы уволить. Скажу Иосифу. Пусть другую найдет. А эту — оставлю. Она хороша! И на лицо хороша. Иосиф не дурак. А интересно, они обвенчаны? Но ведь мы с Володичкой тоже сто лет не были обвенчаны! Не сто лет, а всего четыре года. За четыре года много воды утекло. Наша Сибирь, наши снега. В Сибири обвенчались. Зачем? Революции это было безразлично. А теперь мы живем в усадьбе. Как помещики. А что изменилось? Ничего не изменилось. Только власть у нас. Как он на меня смотрит! Он же все понимает! Все! А что, неужели он понимает, что он умирает? А я, я это — понимаю?»

Молодая думала: «Зачем я сказала про температуру так громко! Это нельзя. Больного никогда нельзя огорчать. Больной всегда думает, что у него что-то ужасное и что он завтра умрет. А это же наш вождь, и не только наш! А всего мирового пролетариата! И что же будет, если он когда-нибудь умрет? Не когда-нибудь, а скоро. Не скоро, а завтра! Господи, продли его дни! Боже, зачем я поминаю Господа! Революционерам нельзя поминать Господа. Но Он же есть! Вот и Иосиф учился, чтобы стать священником и служить Господу. А служит людям. Людям служить почетнее, чем Господу. К черту Господа! Что делают при такой высокой температуре? Неужели ты не знаешь? Ты уже все наизусть выучила! Холодная мокрая тряпка на лоб. Хинин, сбить жар. Лучше аспирин. Капли опия, только осторожно, не переборщить. Может, это простуда, я открывала окно, и его продуло; я его простудила. Я преступница! Мне прощения нет! К вечеру он закашляет! И надо будет горчичники. Нарезать лимон тонко... малиновое варенье... вазочку меда, в августе мужики привезли из Весеьгонска... Нет, все чушь, ничего не поможет...»

А может, они думали другое и по-другому. Этого мы никогда уже не узнаем. Стояли друг против друга, склонив лбы, и было что-то общее в их лбах — крутых, как у бычков, и волосы гладко зачесаны назад, и потому лбы голые и воинственные, упрямые. Только у молодой на затылке смоляной пучок, а у старой — седой и растрепанный.

Молодая все держала в пальцах градусник. Он дрожал. Это ее рука дрожала.

Старая пристально посмотрела на руку молодой. Она следила, как дрожит градусник.

На миг он почувдился ей сосулькой под солнцем и вот сейчас закапает на пол.

Не выдержала, протянула старую обвисшую руку, торчавшую толстым березовым бревном из широкого сугробного рукава ее балахона, и вынула градусник из изящных смуглых молодых пальцев. Водила градусником перед носом, силилась рассмотреть.

— Совсем слепая стала, — вздохнула, и у нее в груди опять заклокотало. — Ничего не вижу без очков.

— Вы можете идти, — снова терпеливо повторила молодая, ее глаза, большие и широко расставленные, черные и горячие, будто в них кипела смола, смотрели теперь не на старую, а невесть куда, далеко. Старая попыталась проследить за ее взглядом. С трудом повернула голову на толстой шее и смотрела туда, куда смотрела молодая.

Но она не смогла найти там глазами ничего. Ничего. Кроме стены да еще карниза, на котором висела царских времен шелковая гардина.

Старая повернулась. Медленно пошла, поплыла к двери. Обе створки дверей были распахнуты, женщины как вбежали сюда, так их и не закрыли за собой.

Ее балахон обвис на ней, подол полз по полу, толстые руки висели вдоль круглых снежных боков.

Молодая по-прежнему смотрела вдаль. Смотрела и не видела. И получалось так, что она смотрела внутрь себя.

Щиколотки из-под юбки и ее туфли, лаковые, черные, гляделись аккуратно и грациозно. Тонкая талия утянута узким холщовым поясом. Грудь часто дышит под блузкой, и дыхание колеблет расстегнутый ворот. И только южное, темное от лета, от солнца, а может, от роду такое солнечное лицо, с чуть горбатым тонким носом, с ши-

роко стоящими черными глазами, с гладкими волосами цвета нефти, расчесанными на пробор, горело и искажалось настоящим страхом. Молодая мысленно молила старую: только не оглянись! Не оглянись на меня и на него! Не надо!

И старая не оглянулась.

<...>

ГЛАВА ВТОРАЯ

<...>

Надя шла по Москве.

А Москва, тяжелыми каменными ногами, дыша в нее легким пьянящим небом, шла по ней.

Так шли они друг по другу, Надя и Москва, и слепо ловили друг друга за руки, и стелились друг другу под ноги, дрожа и камня, а иногда плача от неудержной радости.

По одну ее руку вгибались внутрь земли, проваливались туда черные безглазые дома, фонари с разбитыми стеклами, приبلудные собаки и старые дворники с древними лохматыми мочалами бород, расстилалось все черное, дырявое и старое, что еще вчера было Москвой, да и сегодня от нее не ушло: нищие с котомками, попрошайки, ворюшки, уличные бабенки с намалеванными алым сердечком дешевыми ртами; еще там, в этом гигантском выгибе уходящей земли, лошади трясли мордами, и овес высыпался на мостовую из холщовых торб, и телеги кренились, их жерди трещали, их колеса буянили и выплясывали камаринскую, — а по другую руку творилось невообразимое.

Выгибались, вздымались над ней красные знамена. Мотались на ветру транспаранты. Трубы больно, жестоко протыкали лохмотья туч. Тучи становились сводами небесного красного зала, и они были изукрашены бронзовой лепниной, усеяны алой и малиновой смальтой, на сводах отражались люди, что семенили по мостовым и тротуарам, внизу, и там, вверху, они становились громадными радостными фигурами, ветреной подвижной мозаикой, фигуры уходили в небо, но их ноги чудом продолжали ступать по земле; так они связывали собой небо и землю. Надя поднимала голову — фигуры шли над ней, гигантские люди смеялись, на их лицах играл красный румянец. Вогнутая вниз нищая чернота и выгнутая далеко вверх красная сфера нигде не соприкасались. Это были пространства разного порядка и разного назначения. Они и не должны были дружить. Красная вселенная должна уничтожить черную, что тут говорить. И так и будет. Совсем скоро, дайте срок!

Под Надиными ногами все еще плыл осенний грязный асфальт, но она дерзко и неуклонно поднималась над землей, над Москвой, она это чувствовала. Она шла прямо по выгибу Замоскворецкого моста — нищий город окончательно исчез, и она шла по новому торжеству и воле, по чугунному празднику между небом и землей. Ноги сами несли ее, так легко ей было — и внутри, и снаружи. Ей хотелось петь. Она с трудом сдерживала себя. Навстречу ей тоже шли люди, и они были вроде с виду обычного человеческого роста, и в то же время они были огромны, как огромны мир и жизнь. Это придавало ходу Нади по Москве еще больше сил: она всем телом, не только разумом, понимала, что смерти нет и быть не может, а есть только неуклонное восхождение красной жизни — вперед и вверх, все выше и выше, в красное рассветное небо.

Да, рассвет; это было утро Москвы, и красный свет, сочившийся из-за рваных лохмотьев старых туч, озарял новизной и свежестью, разил наповал все отжившее и бедное. Надя привыкала не жалеть старье; она не раз говорила себе: «Старье вон со двора, все плохое, это было вчера!» Дома по выгибу неба бежали над ней ввысь, она задирала голову и весело глядела на новый космос, что любовно раскидывал над ней красные

крылья. По мосту катились не колеса авто, а круглые красные, золотые, синие планеты. Река обращалась в летящую сквозь тьму ослепительную комету, ее алые лучи били прохожим в спины, хлестали в лица, и лица тут же вспыхивали, становясь одной природы с тем великим, что погружало людей в стихию веселого огня.

Надя весело сходила с ума, и ей воображалось, будто она идет не по улице, а вроде как сперва по небесам, а потом вдруг под землей, а под землей, гляди-ка, еще лучше, чем под солнцем: там горит искусственное солнце, да не одно, прожигают темный воздух много солнц, они разноцветные, но все больше красные, и это ясно-понятно, красное — навсегда прекрасное; мы кровью своею эти солнца зажгли, с гордостью думала Надя. Под землю тоже выгнулся мост, но Надя не знала, зовется он тут Замоскворецким или как-то по-другому; она вдруг потеряла вес, ее ноги свободно зашагали вверх по стене, она пешком поднималась по блестящей рубинами и золотом мозаике — и вот уже шагала по выгнутому гигантской аркой потолку, и у нее совсем не кружилась голова; это было в порядке вещей, что она шла кверху ногами, ведь под ногами у нее тоже был крепкий камень, и крепкое золото, и крепкий мрамор, и крепкая бронза, и, главное, крепкий и сильный свет — по его прямым сильным лучам можно было идти безопасно и спокойно, лучше, чем по всем мостовым и по всем мостам. Свет вымостил собою сферы, связал их. Теперь ничто не было страшно.

И Надя шла и смеялась.

Она шла по выгибам красных мозаичных сфер, под потолками новых созиданий, раскидывая молодые руки, и ее кожаная куртка трещала под мышками, потому что ее грудь еще время от времени наливалась несцеженным молоком и распирала ей слишком тугой лиф. Она шла, радуясь, ликуя, и новые герои обступали ее: ей навстречу, мимо нее шла новая жизнь, она весело шла рядом с ней, в ногу с ней, и Надя старалась попасть в ногу с этой заманчивой новой жизнью, украдкой восхищенно глядя на ее новые красные одежды, на ее румяное лицо с плотно сжатыми губами и зубами, оттого оно казалось суровым, но глаза жизни блестели новой верой и новой волей, и Надя заранее прощала ей всю жестокость и всю жесткость, и эти крепко сжатые зубы, и это молчание, ведь когда-нибудь этот живой поток, этот ход по огромному, новому небесному городу должен прерваться, все люди должны остановиться, посмотреть друг на друга, протянуть руки друг другу и воскликнуть: «Родная! Родной! Роднее не бывает!»

Но люди не останавливались. Они все шли и шли, и Надя ритмично дышала вместе с ними и ритмично, нога в ногу, шла с ними вперед: туда, где все будет красно и ярко, откуда бил ослепительный твердый, жесткий железный свет. Надя обнаружила, что идет уже не по выгнутым подземным сферам, выложенным безумной мозаикой — искрами золота и счастьем серебра, военной честью алых, кровавых шелков, красно-мясным мрамором, угрюмым гранитом и многозвездным лабрадором, — а прямо по тонкому, летящему вперед лучу. Она испугалась, замахала в воздухе руками и зашаталась, балансируя на слепящем канате луча, и только спрашивала сама себя, потому что спросить больше некого было: а куда я иду? И куда я приду? И что будет там, куда я приду? Что будет? Что будет?

Она не успела ответить сама себе, и никто ответить ей не успел.

Выгиб подземной сферы перетек в небо, а небо, вдоволь посмеявшись над Надей, плавно опустило ее опять на землю — это она перешла Замоскворецкий мост, будто босиком по воде.

Она скосила глаза — и справа от себя опять увидела нищету и черноту.

Беспризорный мальчик бежал рядом с ней и протягивал руку — он просил ее: дай мне что-нибудь, ты, прохожая девка, или деньгу, или корочку, или горбушку, или безделушку! А я пойду ее в ломбард заложу и опять же жратвы куплю, а может, и вы-

пивки! А если мне не дашь ничего — так я же тебя все равно повытрясу, у меня и ножичек есть, ага, боишься!

Рядом с мальчишкой бежала собака. У собаки светились человеческие глаза. Глаза эти были злые, все понимающие, они страдали, но в страдании своем обвиняли всех, кто пинал собаку в живот и грудь, кто морил ее голодом и бил ремнем и плеткой. А то и обломок кирпича в башку ей бросал.

А у мальчишки, Надя с ужасом поняла это, глаза подо лбом мерцали — собачьи.

Кто из них собака, еще больше ужасаясь, и все-таки со смехом, подумала она и убыстрила шаг, и мальчишка побежал быстрее, и собака бежала за ним и взлаивала, и тут беспризорник и правда выдернул из-за пазухи нож — узкое лезвие остро блестя под ало-золотым солнцем, — и Надя думала: солнце подземное или настоящее? — и еще думала: надо побежать быстрее, а то сейчас парень пырнет меня ножом! — но ноги не двигались, как во сне, и небо, уже сплошь залитое желтыми сливками солнца, все так же гигантски выгибалось далеко и высоко над ней и все так же шли по небу, далекому, громадные фигуры — то ли люди, то ли боги, то ли народы, то ли безумцы, то ли никчемные, век свой отжившие ангелы, пахнувшие нафталином и куличом, то ли рабочие и крестьяне будущих светлых, небесных лет, с сильными бугристыми руками, с ногами и спинами во вздутых трудом, твердых, как железо, мышцах, с набыченными крутолобыми головами, кто в кепках, кто в ушанках, кто в картузах, кто в туго повязанных, надвинутых на брови красных платках, а кто с голою головой, открытой солнцу, и ветру, и дождю, и снегу, и Надя перестала различать их одежды, пиджаки, поддевки и сапоги, юбки и куртки, френчи и гимнастерки; они для нее слились в одну черно-красную живую, дышащую массу, а этот противный мальчонка все так же упрямо бежал рядом с ней, несся на всех парах, хоть она еле переступала ногами, и все так же казал ей ножичек, все ближе подносил солнечное лезвие к ней, — и тут Надя поняла, выскерком молнии: луч! Это же луч, а не нож!

И как только она выдохнула это в осеннюю слякоть: луч! — нож обратился в руке уличного парня в луч, луч ударил в мрачные могилы лютого прошлого, а потом в выгибы светлых сфер светлейшего, золотого будущего, — и все вспыхнуло и засияло так мощно и победно, что Надя засмеялась и зажмурила глаза.

Она стояла на набережной. Москва-река грязно и плавно плыла под ней, под ее плывущим, подобно реке, взглядом. Беспризорник стоял рядом, нож по-прежнему торчал в его кулаке, но он больше не сиял, обратившись в великий и торжественный луч: он торчал глупо и жалко, бандитский, а вроде как перочинный, карманный. Собака села, развалив задние лапы и высунув язык; она устала бежать, и, видать, ей хотелось пить. Дышала она тяжело, часто и шумно.

— Убери нож, — весело сказала Надя мальчику, — ты где учишься?

— Нигде.

Мальчишка длинно шмыгнул и утер нос кулаком, и лезвие легонько, невесомо полоснуло ему по верхней губе. Потекла кровь. Надя засмеялась, но потом поняла, что смеяться тут неприлично и неуместно. А надо останавливать кровь; надо заботиться.

— Стой-ка спокойно! Не шевелись.

Она присела рядом с мальчонкой на корточки, вынула из кармана кожаной куртки носовой платок. Платок был мятый и грязный, но это было ничего. Надя плюнула на платок и прислонила его к порезу. Так держала. Мальчик стоял навтыжку, как в строю. Собака задрала голову выше и завывала. Она выла, как говорила. Люди шли рядом с ними и мимо них, шли, переговариваясь и хохоча, шли по делам и в безделье слонялись, спешили на работу и медленно, важно шли в никуда, к смерти, видя ее впереди, как блеск холодной далекой воды, — они опять и опять незаметно поднимались с плоской бедной земли и шли по выгибам мощных нетленных сфер, не падая и не

балансируя, шли по небу, аки по почве, и шли по камням, как по небу; они сливали своим безудержным, будничным ходом небо и землю, жизнь и гибель, войну и любовь, — а Надя все держала скомканный носовой платок у щеки беспризорника, и собака перестала выть и положила тяжелую голову с мокрым носом Наде на торчащее под черной юбкой колено. Собака просила есть, а у мальчишки был только нож, а у Нади только платок.

Надя отняла комок материи от щеки мальчика. Кровь прекратила течь. Мальчишка вслепую затолкал нож в карман. Надя тоже сунула руку в свой карман, вытащила портмоне, щелкнула замком и приказала мальчишке:

— Руки подставляй!

Он готовно подставил сложенные лодочкой ладони. Надя перевернула в воздухе портмоне и высыпала в руки парню все деньги, что жили в ее кошельке — бумажные шуршали, серебро и медь тускло, бедно звякали. Когда деньги кончили высыпаться, Надя застегнула портмоне и улыбнулась. И улыбка у нее получилась такая как надо: веселая, словно она была одного возраста с мальчонкой, и они оба смеялись над обворованным в хлебной очереди толстопузым купчиком.

— Купи себе что хочешь!

Парень не сводил глаз с денег. Потом угрюмо, исподлобья глянул на Надю. И собака посмотрела — таким же угрюмым, исподлобным взглядом.

Оба, мальчик и собака, глядели на нее, и Надя растерялась.

— А что ты хочешь?

Она совсем не ожидала, что это спросит, у нее вырвалось.

И тут собака рванулась вперед. Она побежала, и парень, зажав в кулаках бумажки и стальные кругляши, тоже побежал за ней, лапы собаки мелькали, и ноги парнишки тоже мелькали в воздухе, он слишком быстро перебирал ими, и они слишком быстро удалялись от Нади — вот стали двумя точками в солнечном дыму утренней улицы, вот уже побежали по выгнутой в зенит сфере, вот стали нищими ангелами над бездной.

И уже не бежали, а летели, и веселились, и смеялся парень, и лаяла собака

Только хриплого смеха и звонкого лая на земле не слышно было.

Надя поглядела на переливающуюся жидкой бронзой, алую воду реки.

— Придется домой пешком идти! — сказала она самой себе.

И пошла пешком.

Красная площадь ало, солнечно дымилась перед ней, испускала красные счастливые лучи, обдавала ими Надю и людей на ее пути. Лучи били от красных кирпичных стен Кремля, и Надя, шурясь на солнце, окинула их взором владыки — да, теперь она владела всем этим, тем, чем раньше владели цари; и она была царица своей земли, а весь народ был ее царь. «Царь — плохое слово», — вылепили ее губы, и она не услышала своего шепота — таким утренним звонким, бестолковым и радостным шумом уже наполнилась Москва. Прямо перед Надей вдруг вырос, как из-под рассевшейся мостовой, продавец папирос; он стоял перед Надей в картузе набекрень, застекленный ящик, битком набитый коробками папирос, выпячивался на его укутанной в зипун груди, и продавец выразительно постучал ногтем по стеклу, чтобы Надя, соблазняя и любопытствуя, заглянула туда, в прозрачную стеклянную квадратную лужу, и увидела там яд и дым, что стоил денег.

— Лучше среди сигарет всего мира — папиросы «Ира»! — выкрикнул торговец. — Кури «Ира» папиросы — и исчезли все вопросы!

— Вы стихами умеете, — весело похвалила продавца Надя, наклоняясь и рассматривая пачки папирос. Они лежали на дне ящика, как соленые рыбы головы, отрубленные для приготовления ямщицкой дешевой ухи.

Ира, в честь какой такой Иры папиросы окрестили? Этого никто и никогда не узнает. Может, эта Ира подло бросила любовника, а любовник взял да основал табачную фабрику. И на весь мир прославился. Зачем слава? Что такое весь мир? Куда выгибаются солнечные, медные сферы? Где лежит лучшее золото, где реет самое тяжелое и драгоценное красное знамя, пришитое к золотому древку, а древко вдруг обращается в острое копые, и, его воздев, им можно убить?

— Купите! Недорого! Всего десять копеек! Десять папиросок в пачке! Копейка папиросочка! — отчаянно выкрикнул продавец.

Надя смотрела ему в лицо. Тараканьи усы, глаза спрятаны под темными очками. В улыбке торчат гнилые зубы. На картузе написано белой краской: «МОСКВА СОВЕТСКАЯ». Надя стала внезапно как будто выше ростом и с огромной высоты глядела на море голов, что колыхалось вокруг нее и торговца, она и торговца затылок видела, и ящик у него на груди блестел, будто покрытый прозрачной грязной льдиной, и ломовики кнутами били лошадей, тащивших телеги и вагоны по тусклым селечным рельсам, и гудели автомобили, пробираясь меж спешащих людей, а люди, презрев тротуары, бежали по мостовой, запруживая ее, наводняя собой. Надя с трудом заставила себя стать опять маленького роста. Продавец поправил бараний воротник зипуна. Услужливо приподнял стекло. Вынул коробку и тряс ею перед носом Нади.

— Да ты понюхай, понюхай, девушка, как пахнет! Аромат неописуемый! Цветок! Розанчик!

Надя рассмеялась и отшатнулась. И зажала нос пальцами.

— Спасибо, товарищ! Курите ваши папиросы сами, товарищ!

И пошла. Продавец, разочарованно глядя Наде в спину, выдохнул:

— Ну и с...а!

Люди бежали мимо Нади — все в обтрепанных пальто, в старых костюмах, в латаных шубейках и разношенных башмаках; все были бедно одеты, даже нище, но в глазах у людей горела непонятно откуда взявшаяся вера, и она же вспыхивала в непрощенных, быстрых улыбках, в тревожном и рассыпчатом смехе, возгорающемся над толпой и гаснущем на ветру, как гаснет свеча, — всем было все равно, в чем они ходят и что едят, ведь все уже жили в другой стране, и хоть все сознавали, что старого не вернешь, хоть сердце тосковало по тому, что тебя обнимало и ласкало вчера, но новая любовь слишком властно явилась и слишком щедро, богато заявила о себе; и слишком драгоценной, на вес золота, кровью за нее, эту любовь, люди заплатили — и все прекрасно помнили цену этой любви, и ни за что теперь не расставались с ней, и путали ее то с верой, то с надеждой, а впрочем, не до названий и имен теперь было. Казенные машины шуршали новомодными шинами по древней мостовой, трамваи звенели, будто рельсом стучали о рельс, Надя глядела себе под ноги, чтобы ненароком не оступиться — ночью ледок уже схватывал лужи, и холодок бежал тонкой струйкой ей уже за теплый, бобровый воротник, под солнцем ночной снег и лед таяли, навстречу ей шли мужчины во френчах, и она молча посмеялась над ними — так они все были похожи, — «а может, это братья, что ты смеешься», — зло одернула она сама себя и вспомнила внезапно, резкой вспышкой, как в Царицыне три брата, красных солдата, расстреляли двух своих пойманных прямо на поле боя братьев, солдат Белой гвардии; и страшно, и тошнотворно ей стало. И она шла вперед и вперед, не оборачиваясь.

Оборачиваться никогда не надо, когда идешь вперед. Иди всегда вперед и не оглядывайся назад! Так ее учила мать, а мать ее собаку съела в революционной страшной борьбе. Они все, их родители, боролись без надежды. Она — Надежда! Вот — новое! Вот он, желанный новый мир! Только почему он такой нищий? Почему все эти прохожие люди так жадно глядят на нее? Она хорошо одета? Завидуют ее кожаной куртке? Завидуют сапожкам на шнуровке из Лондона, Иосиф выписал?

У парашюта набережной стояли двое, читали газеты. Он и она. Пожилые. Наде они показались двумя толстыми крысами: крыса-мужчина в котелке, с острой мордочкой, крыса-дама в давно вышедшей из моды громоздкой шляпе с горою матерчатых цветов на затылке и на козырьке, смешной в осенние холода. А может, зимней шапки у нее нет, и ей нечего больше надеть, кроме этой отжившей роскоши. Надя, проходя мимо, прочитала заголовок, набранный крупными буквами: «ЗДОРОВЬЕ ВОЖДЯ». И ее спину окатило кипятком стыда.

Ходит по сферам! Гуляет в бездонном небе! Любуется Красной, Великой, Новой Москвой! Ее потянуло в покинутую усадьбу так, как никогда и никуда на свете не тянуло. Ей стало стыдно своего вольного гулянья по столице, полета: «Я не птица, я не птица, я человек», — твердила она себе, внутренне собираясь, сжимаясь опять в тот деловой, жесткий комок, которым она была всегда, привыкла быть. Солнце над ней сделалось тусклее, алее. Сапожок заскользил по грязи, она чуть не упала, но раскинула руки, как там, в недавних небесах, и опять удержалась. Она всегда шла по краю и не падала. Качалась — и удерживалась. А может, ее держала неведомая сила? Она ничего о той силе не знала. И не хотела знать.

Она шла с широко открытыми глазами, потом ноги все так же шли, не останавливались и не замирали, но она закрыла глаза. На миг? Надолго? Перед нею опять встали, взбугрились гигантские крылья и круги. Расходились в стороны, пылали планетные шары. Люди живыми колесами катились то ли к пропасти, то ли к звездному взлету. Новый мир властно зацапал ее в громадный круглый, горячий кулак, обжег все вокруг нее и ее самое. И опять не остановилась она. Важно было идти вперед даже слепой, обожженной. Даже глухой, раненой, непомнящей, невидящей и невидимой. Не оглядываться назад.

За нее путь видели ее ноги.

И когда она сама сказала себе: стоп, хватит шутить с землей, с небом и с собой! — ее нога подвернулась на камне, она стала падать, и ее схватил за руку живой человек. А она-то думала — она уже красное знамя.

— Простите! — сказал человек.

Она смотрела еще невидяще. Солнце било ей в лицо.

В солнечных лучах она разглядела: молодой, безусый, рот нежно вспухший, широкие скулы, а глаза яростно горят, как у них у всех, у людей новых времен. Пуговицы на гимнастерке горят под солнцем. Тулья фуражки красным огнем горит.

— Спасибо, — сказала Надя.

Молодой военный человек выпустил ее руку и пошел вперед.

Она смотрела ему вслед.

Под его гимнастеркой шевелились его живые худые лопатки.

Человек прошел еще несколько метров, остановился и оглянулся.

Ему никто не приказывал не оглядываться назад.

Он стоял и смотрел на Надю. А Надя на него.

И они пошли каждый своим путем, и над их головами шевелились, шуршали на высоком холодном ветру, под ярким, как доменная печь, солнцем тяжелые красные флаги.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Этот мужик всегда теперь был при нем.

И в то же время невидимый был: не всечасно мельтешил под ногами, не встречал поперек, не бросался услужить, помочь, поднести, перетащить, — а странно маячил поодаль; мужик скромный, мужик дальний, но в то же самое время и близкий — ближний.

Возлюби ближнего, как себя, так, кажется, у попов в их талмудах значится? — наплевать, как оно там, всему этому можно и не верить. А верить надо — вот, человеку. Мужик в усадьбе, мужик при Ленине, — да это самолучшая иллюстрация того, что вождь и вправду народный, он — с народом, и вот он, вот — его народ: хлипкая сивая бороденка, один глаз подслеповат, другой остер и зорок, хищен, как у старого ястреба, волосы кругом лба и затылка стрижены и тоже прошиты сивыми нитями, рот то подковой сложен, то усмешается беззубо — верхних зубов нет, источены, но удивительно, когда говорит, не шепелявит. А выговаривает слова прочно, плотно; будто притирает их друг к другу, приклеивает намертво.

Его пользовали на тяжелых усадебных работах — где сгрузить ящики и мешки, где мертвое дерево срубить, распилить и изрубить на дрова; где сколотить гвоздями разошедший шкаф, где подпилить вросшую в пол дверь, чтобы не скрипела и половицы не царапала. Никто не помнил, как он появился в усадьбе; а он сам пришел, как ходок издалека, да он и был ходок, только никто не знал, долго ли он к Ленину шел; и Ленин, несмотря на болезнь, его принял — «пустить ко мне! крестьянин, может, беда у него какая!» — да никакой беды у мужика за душой не было, а может, тайная и была, да не сказал никому. Ленина подняли с постели, накинули на него халат, подвели к круглому столу, спешно надели теплые носки и матерчатые туфли на босые ноги, и пригласили мужика, и глаз с него не спускали: а вдруг разбойник какой? Мужик сел за стол, ощущал круглоту стола обеими руками, будто обнять хотел, изумленно выдохнул и прошептал: экая красота-то какая! Стол поутру еще не успели покрыть чистой скатертью, а наружу, в лица людей, сверкала под утренним, из окна, солнцем старинная инкрустация на круглой столешнице. Мужик пялился не на Ленина; он пялился на цветные деревянные плашки, складывающиеся в замысловатые узоры, жевал губами и мял в пальцах бороденку. Ленина с предосторожностями усадили на стул, обтянутый холщовым чехлом. Ленин проследовал глазами за глазами мужика, и вот они уже вместе тарачились на инкрустацию. По поверхности стола, как по поверхности моря, плыли и кувыркались деревянные дельфины, а деревянная голая женщина плыла меж ними, раскинув руки, и весело смеялась. Мужик крепче ухватил себя за бороду, закрихтел и беззубо рассмеялся: «Вишь ты, непотребство какое! А спервоначалу и не разглядеть!» И лишь тогда поднял глаза на Ильича.

Ленин тоже поднял глаза от столешницы с голой богиней и играющими дельфинами. Они оба, мужик и Ленин, пристально смотрели друг на друга, и оба начали смеяться — сначала тихо, потом все громче и громче. Уже мужик хохотал в голос, хрипел смехом, а Ленину, это мужик видел, трудно было смеяться, и он шурился и двигал нижней челюстью, и остроугольная его борода мелко, козлино тряслась.

Вождь стал расспрашивать мужика о том о сем. Ему было трудно говорить, но в те поры наступило улучшение в ходе болезни, и Ленин складно сплетал буквы в слова. Мужик слушал, склонив голову, наострив ухо. Потрепав, погладив бороденку, отвечал. Тогда наклонял лысую крупную голову Ленин; он напряженно вслушивался в вязь мужицкой речи, и, где не понимал или не дослышивал, там останавливал мужика слабым нежным жестом левой руки — правую ему заботливо уложили на коленях, — и мужик понимал, замедлял речь, какие-то слова повторял погромче, возвышая голос.

Мужик, по всему видать, пришел в восторг от вождя. «Ох, жалею я вас, Володимир Ильич, ох как жалею! Ну, што захворали вы. Да ить вы выздоровеете. Как Бог свят, выздоровеете! Вам бы к причастию да исповедаться. Ох, простите Бога ради, да я ж запамятовал, да вы ж не верите в Господа! И не верьте! Не верьте! Вы для нас сам как Господь, вот ей-бо! Сломали царя — новую жизнь начнем возюкать!» Ленин положил руку на столешницу, и мужик с любопытством рассматривал руку вождя всех рабочих и крестьян — рука маленькая, квадратная, короткопалая, пальцы, прежде подвижные

и умные, шевелились медленно, будто сонные. Седые волоски покрывали тыльную сторону ладони. В бьющем из-за гардины солнечном луче они блестели, как золотые.

Мужик спрашивал вождя о земле; вождь важно говорил о том, что ждет в недалеком будущем крестьянство России. Прежде нищее, оно немисливо разбогатеет, поля усеют умные машины, веялки и сеялки, овощами и яблоками будут завалены огороды и сады, тучные стада зальют молоком и завалят мясом лавки, рынки и магазины, но это будет завтра, завтра, а сегодня надо пострадать, потерпеть, и хорошо, хорошенько осознать, что надо всем сельским беднякам отнять все награбленное у сельских богачеев! А на это много времени уйдет. Много, батенька! Сколько же? — робко спрашивал мужик, и бороденка его горестно топорщилась. «А э-то-го мы никто, милейший, не зна-ем! Не... зна...»

Ну не знаем так не знаем, кивал мужик и темнел лицом, ну так, видать, мужику на роду написано, потерпим. «Да не терпеть надо, а бо-роть-ся!» — проталкивал Ленин сквозь зубы и усы возмущенный клич.

Бороться так бороться, ну, поборемся, опять послушно кивал мужик.

Ленин беседовал с ходоком более часа. Потом откинулся на спинку стула, стал бесильно сползать с него, люди, стоящие в дверях, в углах комнаты и прятавшиеся за шторами, подскочили, замахали на мужика, как на нашкодившего кота: брысь! пошел! — и мужик встал, и попятился к дверям, и вышел в них, да из усадьбы не ушел: так где-то притулился, переночевал, утром уже помогал на парковых работах, деревья пилил с другими работниками, и стволы обтесывал, и бревна к стене дома, в тень, под колонны, кряхтя, таскал, — и на кухню картошку в мешках подносил, и еще что-то делал, о чем мимоходно просили, — да так и остался. <...>

* * *

Летом он понял: дело плохо.

Он думал об этом тяжело и длинно, долго, и главной среди этих грузных, неподъемных мыслей была такая: мне теперь очень тяжело стало думать, а может, лучше совсем не думать? Мысли увеличивались в размерах, обретали плоть, вырывались изо лба и затылка острыми копыями, а иногда взлизали пламени, а иной раз торчали длинными иглами, и он боялся: к нему подойдут, да кто угодно, доктора, сиделки, секретарши, — и уколуются, и заплачут. А вылезая из головы, мысли обращались в фигуры и существа. Существа подбирались к нему исподволь, подкрадывались и обступали его плотным кольцом. Существа, серые, лохматые, пыльные, душные. Он не мог дышать. Чужие плоские, шерстяные, будто вывязанные из серой шерсти рожи обнажали зубы: смеялись. Он с ужасом обводил их глазами, а потом закрывал глаза и притворялся мертвым. Важно было притвориться мертвым, чтобы они поняли: тут делать нечего, — и отступили.

И они отступали.

Но он, он-то никуда не исчезал.

Хотя частенько ему казалось: он тут лежит, и уже он тут не лежит. Или даже так: не он тут лежит. А кто-то другой, а он встал и ушел. Или его унесли. Вынесли. На странно скрученной простыне. Он знал, что татар хоронят в простынях, зашивая в белые простыни и бросают в яму. Или осторожно, с почестями опускают, не все ли равно. Но он не татарин. А кто он? Разве русский, разве православный?

Бог. Проклятый Бог. Взорвать Его дома. В них Он жил две тысячи лет, поселился, ишь. Выметайся! И вымету, вымету пыльной метлой, думал он и тяжело ворочался на сырой от пота подушке. А если Он есть? И если Он живет не в домах своих, не в иззо-

лоченных церквах этих, а где-то в другом месте? Если Он — живет, страшно сказать, в человеке?

Да, в человеке, как треклятая заразная бактерия, как микроб?

Он думал обо всем этом, и снова его прошибал пот. Пот — это прекрасно, это из организма выходят яды и шлаки. Так доктор говорит. Доктор Авербах, чудный, дивный еврей. Вот еврей, они ведь не православные, нет? Хотя есть выкресты. Все это чепуха сушая. Вот прекрасная нация, умная, тонкая, нежная, деликатная, но когда надо — смело восстанут, и возьмут в руки оружие, и нападут на кого надо, и кого надо защитят. С ними всегда хорошо иметь дело. Они не подкачают. Да ведь и Бог был еврей. Об этом тоже не надо забывать. А он забыл? Забыл? К черту Бога! Пить! Пить! Жажда!

Он выгибался на кровати и кричал: пить! пить! — а из его рта, из-под поседелых нижних усов выходил наружу лишь странный скрип. Будто терли деревом о дерево. Да, и сам себе он часто казался деревом; ветви вместо рук, стволы вместо ног, а там, ниже ног, еще один ствол, невидимый, в три обхвата, сквозь все настилы полов в землю уходит, и он весь, он сам из незримого ствола вырастает и ветвится. А пальцы — что? Пальцы — листья. Они шелестят. Почему так сильно болит голова? Почему никто не несет ему питья?

Он разгорался, возбуждался, дергался, молотил живую левой рукой по одеялу, по матрацу. Он перестал спать, совсем перестал, его глаза выкатывались из орбит и плялились в серое шерстяное, дикое пространство; вокруг качалась и вздрагивала не комната, не спальня, где он бесполезно валялся на широкой деревянной койке, а вместительная кастрюля, где варился ад; каша ада пучилась и выползала из кастрюли наружу, замазывала ему глаза, залепляла лоб и уши, и он махал руками и царапал ногтями щеки, пытаясь содрать это липкое потустороннее варево. Он ловил край крыла мысли, летучей мыши: он уже по ту сторону настоящего, значит, он сам уже ненастоящий. Игрушка. Гомункулус. Деревянная фигурка, и дергать его за ниточки, тогда он будет шевелиться, а иначе никак. Таких медведей продавали на рынке в Симбирске: выточенных из липы или сосны, это уж как мужик-мастер смог, липа мягче, ножом орудовать легче, — продавец дергал медведя за нитки, и он воздымал липовые лапы и бил деревянным молотом по деревянной наковальне, или вздергивал тощую удочку, или просто лапами в воздухе махал, и передними, и задними. Дивная забавка. Детки толпились у прилавка. Его крепко держала за руку мать, вела мимо. Мать отворачивала от мужика с медведями белое, густо напудренное лицо и задирала нос. Она всегда густо пудрилась: у нее была кожа шероховатая, жабья. А ей хотелось быть красивой. Приличной. Как все.

Да, у его матери были жабья кожа и рыбий рот, и, однако же, его отец на ней женился.

А его Надя тоже похожа на рыбу. Большеротая и белоглазая. И холодная. И медленная. И спокойная. И скользкая. Он содрогался, когда вспоминал, как они с ней исполняли супружеский долг. Ему казалось: они плохо и неумело танцуют.

Ночь гасла. Гасли адские огни. Прекращала булькать преисподняя каша. Из серой мглы появлялось хитрое лицо врача. Врачи, они такие, они хитрецы. Они всегда обманывают. Ты хочешь узнать: тяжело ли ты болен? — а тебе бормочут: здоров, здоров. Ты вопрошаешь, смиренно, жалко и тихо: я буду жить? — и тебе врут напропалую: а как же, разумеется, конечно! Вы еще весь мир себе подчините! Кто бы знал, хочет он подчинить мир или нет. Он чувствует себя грузчиком, что взвалил на спину тяжеленный рояль. Привязал его к себе ремнями и тащит, кряхтит. А ремни гнилые. Вот-вот оборвутся. А он тащит все равно, потому что ему заплатили хозяева. Дотащил вверх по лестнице! Звонит в колокольчик. А дверь распахнута настежь. И бешеный сквозняк выдувает из пустых комнат последний мусор. И хозяев нет. Уехали. Умерли.

И ты не знаешь, что тебе, грузчику наемному, делать с этой музыкой. Ты даже играть не умеешь.

И ты стаскиваешь ремни с плеч. И кладешь чертову черную тушу рояля на деревянные плахи пола. Толстые свиные ноги рояля торчат вбок. Ты чуть не падаешь через них, но все-таки открываешь крышку — под ней клавиши. Тебе надо на них нажать. Просто нажать! Больше ничего! Для этого у тебя есть пальцы. Пальцами шевели, ума не надо. Но беда в том, что ты умный грузчик. Ты в университетах учился. И ты ноты знаешь. И знаешь, что есть нежное туше, а есть тяжелый удар. И ты замахиваешься и ударяешь. Ты бьешь по клавишам кулаком. Ты не Исай Добровейн. Не Ванда Ландовска. Не Сергей Рахманинов. Ты лучше. Злее. Ты несешь смерть тому, кто достоин ее. Сейчас не гладить надо по клавишам! А бить! И даже топором рубить! И даже расстреливать эту чертову хитрую музыку из нагана! Из пулемета! Выпускать горячие пули в ее медное струнное нутро! Наезжать на нее английским танком! Пускать ей в морду немецкие газы! Эта музыка не будет вечной! Вот, вот глядите, ее больше нет! Нет, слышите?!

Он все молотил и молотил кулаками по клавишам, как живыми цепями по живым колосьям, и уши ему заложило от страшного крика, исторгаемого роялем, и он понимал: еще немного, и рояль замолкнет, он будет мертв, как все однажды убиваемые, музыка будет мертва, и станет легче, и зло погибнет, и все закончится само собой: война, революция, опять война, и еще война, их будет еще много, не счесть, значит, надо убить музыку, что играет военные марши.

И он ее убивал старательно, правильно.

Убивал самим собой.

Хитрое лицо врача в белой шапочке длинно и тонко улыбалось ему. Улыбка не сходила с медицинских губ. Доктор всегда был чисто выбрит, и нос его, длинный и узкий, едва не касался его нежных, как у ребенка, губ. Как вы сегодня себя чувствуете, Владимир Ильич? Он, чуть дернув набрякшими веками, исподлобья вонзал острые зрачки во врача. Я не уснул ни минуты. Вокруг меня топтались люди, как медведи. Они хотят меня убить, доктор! Врач снова хитро улыбался и блестел глазами из-под пенсне. А у вас сейчас голова болит? Да! Да! Болит! Страшно болит! Я готов полезть на стену! Он кричал это все внутри себя, а наружу выходили лишь странные сочетания далеких, как облака за окном, звуков, но врач его понимал. Врач кивал головой и что-то записывал в толстую тетрадь. Тетрадь толстой кошкой пухло, неряшливо лежала у него на коленях, торчащих из-под белого халата. Вам сейчас принесут завтрак, Владимир Ильич! Завтрак? Завтрак?! Я не хочу! А чего вы хотите? Ну, скажите мне на ушко, чего вы хотите? Больше всего? И мы сейчас вам это сделаем? А?

Врач наклонял над ним голову в белой шапочке и приближал ухо к его рту. Он видел ухо врача: волосатое, с родинкой на мочке.

Родинка впивалась в мочку, как красный клоп.

Я хочу, чтобы меня посадили в кресло.

Будет сделано!

И хочу, чтобы меня возили по комнате. И спустили вниз по лестнице. И вывезли в парк!

Да пожалуйста, дорогой Владимир Ильич! В парк, я вас верно понял?

Губы его складывались в крендель, он судорожно выталкивал из себя, из хриплых легких: в-пр... в-пр... в пар... к... — а уже по навощенному паркету стремительно катили кресло на огромных колесах, и уже руки сиделки, врача и незнакомого ему мужика, обросшего сивую бородой и, как туча, угрюмого, поднимали его с постели, стаскивали с него ночную длинную сорочку, он стыдился своей наготы, пытался закрыться левой рукой, правая плетью висела вдоль белого, как стерильная вата, опухшего тела,

врач осторожно трогал его спину, что у меня там, хотел спросить он и вдруг чувствовал, что он солдат, и ранен в бою, и через всю спину у него бежит огромный бугристый шрам, и больно спине, и горит она, а врач гладит незаживший шов и слегка постукивает по грудной клетке, это аускультация, он всегда не любил, когда ему доктора так по ребрам стучали; и не любил холодный деревянный кружок стетоскопа, елизивший то под ключицами, то под лопатками, — а чужие руки делали свое быстрое дело, чужие деловитые руки его уже обрядили в штаны, полосатую рубаху, пристегнули помочи, накинули на плечи пиджак и усадили в кресло, и кресло уже катилось, будто самоходное, спицы в колесах мелькали, ай да птица-тройка! распольным-полна коробушка! запрягайте, хлопцы, коней! — по медовому блеску паркета, по сахарному мрамору лестницы, меж сахарных пузатых колоннад, вниз, на свежий воздух, и его вкатывали в сад, в эту безумную и прекрасную природу, и парк нагло, нахально наваливался на него всеми своими деревьями, всей музыкой оголтелых птиц, шумом листьев и карканьем ворон в чистых, до безумия глубоких небесах. Небо! Утонешь — не вернешься! Он дышал жадно и часто, хрипло, хищно, дышал вздохом, умирал от счастья — нырнуть в природу и плыть в ней, катиться колобком, увечным ежом по траве, палым листьям, полынным стеблям, вот он, подлинный Бог, а не ваш, церковный, поповский, запряженный под мышину ясу! Яса воняет ладаном и мочой, а настоящий Бог пахнет хвоей и ветром! Далеко звучал выстрел. Он прислушивался. Бессмысленная, счастливая улыбка бродила по его измятому болезнью лицу. Мышцы ослабли, обвисли, и кожа свисала с широких степных скул, и один угол рта глядел вниз, а другой напрасно пытался подняться вверх, оттого улыбка напоминала гримасу плача.

Возите меня, силился он вымолвить, возите меня, катайте меня, я хочу катиться быстро! Я хочу быстрой езды! К нему наклонялись, он вылеплял губами эту трудную, великую просьбу, и чьи-то руки вцеплялись сзади, за его лысым затылком, в спинку кресла, и человек бежал, и кресло катилось, и он в нем катился навстречу солнцу. Навстречу будущему.

А чужие руки нахлобучивали ему на лысину панаму: Владимир Ильич, осторожней, голову напечет!

Его катали по парку до одурения. Пока он сам не засыпал в кресле, бессильно опрокинув тяжелую громадную голову набок, и она свешивалась с шеи, как вялый крупный цветок, белый георгин.

Тогда его тихо подкатывали к крыльцу усадьбы, кресло хватили на руки сильные здоровые мужики, они всегда были в усадьбе на подхвате, здешние крестьяне, многие почитали за честь подсобить такому важному человеку, вождю всех на свете рабочих, крестьян и бедноты, ведь он вручил им свободу, вручил из своих рук! Как это он хорошо приказал, даром что такой маленький да лысенький, а вот поди ж ты, властнее всех царей оказался: заводы — рабочим! земля — крестьянам! мир — народам! И главное, это главнее, пожалуй, всего: хлеб — голодным! <...>

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Сегодня приедет Иосиф.

Ильич молчал. Он лежал, отвернувшись к стене.

Сегодня он попросил положить его на правый недвижимый бок.

Надя боялась, что он отлежит себе руку и не заметит этого. И ткани омертвуют.

— Володя, ты слышал? Иосиф сегодня приедет.

На лысом затылке дрогнула кожа.

Жена поняла: ее услышали.

Она стояла около кровати с миской в руках, а в миске оранжевой горкой возвышалась морошка.

— Володя! Давай я тебя поверну. Просыпайся! Скоро шесть пробьет. Ты спишь целый день! Смотри, что тебе из Петрограда привезли! Ты такого чуда давно...

Ее журчащая речь оборвалась: большой захрипел и стал силиться сам повернуться.

Крупская поставила миску с морошкой на круглый стол: сегодня он был покрыт темно-коричневой грубо тканой скатеркой с длинными, метущими пол кистями. Бросилась к мужу. Ее массивные руки ловко и привычно делали свое дело: приподнимали, подсовывались, вращали, катили по кровати в белых простынях родную плоть, как дети катают зимою на улице снежную бабу. Одеядо намоталось больному на руку, Крупская его размотала и аккуратно сложила рядом, на край постели.

Лицо Ленина налилось подозрительной краснотой. Малиновые щеки, малиновый лоб. Жена знала: так поднимается кровяное давление, и врачи при этом советуют пить настойку боярышника и сироп калины. Она беспомощно оглянулась на морошку.

Ильич пробормотал неслучными губами:

— Ои-сиф... Ио-сиф...

Жена шепнула:

— Не вставай!

Она шагнула широким шагом к столу, взяла со стола фаянсовую миску, полную морошки, и понесла на вытянутых руках к Ильичу, стремясь обрадовать, удивить.

И не донесла.

Неуклюже, всей стопой она наступила себе на длинный складчатый подол, ведь зареклась она шить у портнихи такие несуразные, слишком длинные, как в прошлом веке, платья, — да она сама была родом из прошлого века и к длинным юбкам сызмальства привыкла, а не надо, не надо было шить такие хламиды, это немодно и неудобно, — колено подкосилось, она стала падать вперед, попыталась зацепиться рукой за спинку обтянутого холщовым чехлом кресла, кресло, как скользкая рыба, вырвалось у нее из руки и поехало на гладких ножках по гладкому полу, и вслед за креслом заскользила на паркете и стала падать она, грузная, круглая, белая, снежная, пахнущая рыбой, и соусом, и типографской краской свежих газет, и накрахмаленным холстом, — а из рук у нее уже падала, улетала миска, и уже достигла пола, и фаянс уже разбивался, раскалывался на крупные куски и мелкие кусочки, и Ильич с ужасом и слезами глядел из-под рыжих, с сединой, взлетевших на лоб бровей. Это была его любимая миска. Он из нее всегда ел лакомства.

Он ждал этой миски, как кот, и ему торжественно несли ее — всегда с сюрпризом, с вкуснятиной, с неожиданным подарком.

И вот она разбита. Осколки на паркете.

А Надя, лежа на полу на животе, как большая рыба, взмахивая плавниками, тянет голову и плывет за миской, она еще видит ее призрак впереди, для нее она еще не разбилась.

— Надя!.. на...

Она шевелилась на полу всем тяжелым телом, не могла встать.

Он заплакал.

Она хватала пальцами и царапала паркет.

Он плакал горько.

Она перекадилась на бок, уперлась локтем в паркет, лицо ее искривилось, из-под ее ладони потекла кровь: она поранила руку осколком.

Он плакал и уже громко, будто ел и чмокал, всхлипывал.

Морошка раскатилась по полу, размякла, закатывалась под кровать. Жена давила ягоды своим телом, и ее холщовое платье пятналось оранжевым ярким соком.

— Ми-лая!.. я сей-час...

Он кряхтел, хрипел и хотел встать.

Они оба хотели подняться и не могли.

Дверь раскрылась, и в комнату вбежала новая секретарша. За ней тяжело, на всю ногу ступая, вошел Епифан. Он сегодня напоминал сонного медведя: борода нечесана, густые отросшие волосы плотно закрыли лоб, упали на маленькие глазки.

Епифан раскорячисто шагнул, этим огромным кривым шагом достиг бьющейся на полу жены вождя, крепко подхватил ее под мышки и, огрузлюю, поднял так легко, словно это была набитая пухом громадная подушка. Ильич, лежа на кровати, плакал и кусал губы. Епифан ступнями в лаптях безжалостно давил огненные ягоды, подволакивал Крупскую к креслу, усаживал; теперь плакала она, дрожала нижней губой. Секретарша смотрела на ее лиф и юбку, все испятнанные давленной морозкой.

— Надежда Константиновна... вы не расстраивайтесь, все отстирается, я сегодня же, сейчас велю постирать...

— Я и не расстраиваюсь, — лепетала Крупская, ловя воздух ртом.

Секретарша и Епифан подошли к кровати, где медведем ворочался больной.

— Вы сесть хотите? В подушках? — участливо спросила молодая секретарша, и Ленин мокрыми глазами уставился ей в лицо, в глаза, потом заскользил глазами вниз, к груди, шупал зрачками отороченный крахмальным кружевом воротник.

— Д-да...

Мужик и девушка одновременно подвели руки под тело вождя и усадили его на кровати быстро и сноровисто. Епифан знал, что делать. Он уже не раз проделывал это с вождем. Он быстро, ловко греб к себе в изобилии наваленные в изголовье подушки — их тут было четыре, что тебе в деревенской избе, на парадной кровати: одна большая, другая поменьше, третья еще меньше, четвертая совсем крохотная, думка. Мужик пригреб к себе подушки и подоткнул их, одну за другой, под безвольно застывшее тело Ильича. Потом подтащил, проводок вождя по кровати ближе к деревянной кровати спинке. Спрашивал заботливо:

— Ну как? Как оно сидится-то? а? ништо? расчудесно? то-то и оно! А ищо плакали!

Ильич сидел в подушках, как ребенок, с мокрыми глазами, мокрыми ресницами и влажными, блестящими щеками, с губы у него, как у собаки, стекала слюна, и молодая Надя торопливо пошарила в кармане юбки, вынула носовой платок, развернула его — он оказался неожиданно большим, как фартук, квадратом белого креп-жоржета — и деликатно, аккуратно вытерла Ильичу мокрый угол рта. И он глядел благодарно, мокро и покорно, и слезы текли опять, ничем не унять.

— А вот сказочку расскажу, ну-ка! — хрипло прикрикивал Епифан.

Старая Надя тяжело сидела в кресле. Молодая Надя позвала в открытую дверь:

— Эй! Кто рядом! Подойдите, пожалуйста!

Всунулось квадратное, как ее шелковый носовой платок, белое женское лицо.

— Евдокия! Подметите тут! Видите, тарелка разбилась! И ягоды везде! Кто-то может поскользнуться!

Прислуга через минуту вошла с веником, белый фартук завязан на спине большим смешным бантом. Молодая глядела на прислугины туфли: разношены до того, что пальцы сквозь дыры торчат. Своих новых лаковых туфелек молодая хотела было устыдиться, а потом, наоборот, горделиво выставила красивую стройную ногу из-под юбки, уперла каблук в паркет. Женщина с квадратным лицом елозила веником по полу, сгребала осколки и ягоды в огромный, как противень, железный совок.

Не успела молодая Надя вымолвить прислуге спасибо, как из-за двери басовитый мужской голос крикнул по-простонародному:

— Осип Виссарионыч! До вас, Владимир Ильич! С бумагами!

* * *

Сапоги идущего скрипели так громко, так кричали о своей новизне и неразношенности, что молодая Надя едва не поднесла пальцы к ушам, чтобы заткнуть их.

Она лучше всех знала звук этих шагов, и глухой стук этих каблуков, и весь ритм этой походки. Когда муж приближался, она в первую очередь слышала его ход: он проламывался сквозь пространство, она почти чувствовала, как расходится и обдаёт ее холодом воздух, когда его низкорослое плотное тело разрезает его.

Сталин переступил порог спальни Ленина.

Надя отчаянно и радостно глядела на него. Но он не поймал ее взгляда и не глянул на нее. Он глядел на Крупскую, в испятанном, испачканном платье грузно сидевшую в кресле.

С ней с первой он и поздоровался — не с вождем.

Но поздоровался сухо, слишком жестко.

— Ма-е па-чтение, Надежда Канстан-тиновна. — Откланялся. Перевел взгляд на Ленина в подушках. — Здравст-вуйте, Владимир Ильич! О, да вы в доб-рам здравии! — Перевел глаза на паркет, бегал зрачками по испачканному давленной морошкой паркету. Потом опять вскинул глаза на Ленина и долго, без слов, глядел на него из-под насупленных рыжих собачьих бровей. — Как сама-чувствие? Всю прекрасно?

И лишь потом посмотрел на жену.

Молодая Надя стояла навытяжку, как солдат в строю перед генералом. Она видела, как брезгливо содрогнулась кожа на носу у Сталина, как хищно дрогнул кончик носа, — она знала эту кошачью мимику: эта звериная кожная дрожь говорила о том, что он на кого-то гневается и кого-то в чем-то позорном подозревает.

Однако голос Сталина гневом и не пах. Сладкий, текучий, чуть гортанный.

— Вы уже тут па-завтракали, та-варищи? Владимир Ильич, как вам мой повар? Нэ правда ли, он нэ хуже шеф-повара рес-та-рана «Прага»?

От Сталина на всю спальню несло крепким табаком. Молодая знала: у него в кармане френча тщательно выбитая трубка вишневого дерева.

Ленин дышал так тяжело, будто взобрался на гору. На его бледно-синих губах появилось подобие улыбки. И ногти у него тоже посинели. Молодая смотрела на его руки, на губы и думала: «Сердце, сердце плохо работает».

Вождь глубоко, прерывисто, как ребенок, вздохнул и вдруг заговорил хоть и медленно, но не запинаясь, так хорошо и связно, как никогда за время болезни не говорил. Видно было, как он изо всех сил пытается показаться Сталину хорошим, бодрым, крепким, здоровым, ну если не здоровым, так наверняка выздоравливающим.

— Ваш повар готовит слиш-ком острые... блю-да. Товарищ Сталин! Спасибо вам за... него. — Иногда между словами Ленин делал паузы, но старался их не затягивать. — А вы, вы ведь тоже умеете го-то-вить? Когда-то вы... — Опять прерывисто вздохнул. Сталин выжидательно слушал, не перебивал. Шея молодой покрылась красными, будто коревыми, пятнами. — Угощали меня хинкали вашего соб-ствен-но-го... — Опять поймал воздух губами. — Изго... товления! Помните? Тот пикник? Ле... Летом во-сем-надцатого? Все в крови, в огне... а мы...

— А, завтрак на тра-ве, — Сталин выпустил из-под усов осторожную кривую улыбку. Чуть согнул ноги, будто хотел присесть. Галифе нависли над голенищами густо намазанными ваксой сапог. — Па-чиму бы нам иво нэ пав-тарить? Как вы ду-маете?

Он обращался ко всем и ни к кому.

Молодая внезапно расслабилась, будто выдохнула, ее покинуло напряжение ожидания, с лица улетела грозовая тьма боязни. По скулам разлился легкий румянец. Буд-

то кто-то раздавил в ладонях морошку и быстро, шутя, вымазал ей этими мокрыми ягодными ладонями щеки.

— Иосиф, — она говорила слишком тихо и нежно, но все в спальне ее хорошо слышали, — да, конечно же, мы этот пикник повторим! О чем ты... — Она поправилась. — О чем вы будете говорить с Владимиром Ильичом? Если о важном, я сажусь за вами печатать!

Она указала легким и смущенным жестом на пишущую машинку, сиротливо, одиноко стоящую у окна на маленьком квадратном столике на высоких тонких ножках.

Сталин помрачнел, расстегнул пуговицу на кармане френча и вынул трубку. Он прекрасно знал: здесь нельзя курить под страхом смерти. Но он вертел, вертел темную трубку в толстых коротких пальцах, как игрушку, а смотрел вверх нее, в никуда.

По затылку молодой, из-под забранных в тугий пучок черных волос, по ее смуглой шее тек пот.

И в малых каплях этого пота было больше страха, чем бывает в тусклых глазах, в дрожащих губах.

— Да. Садись. Эта ты правиль-на заметила. Надо все фикси-ра-вать. Для истории.

Крупская с плохо скрываемым ужасом в глазах следила, как Сталин взял трубку в зубы, сжимал ее в пальцах и грыз желтыми зубами.

— Коба...

Ленин, будто защищаясь, поднял надо лбом руку.

— Иосиф Виссарионович, здесь нельзя курить! — задушенно воскликнула Крупская.

— А я разве ку-рю? — искренне удивился Сталин. — Мож-на присесть?

И, больше никого ни о чем не спрашивая, сам, властно, плотно и весело, уселся на скрипнувший под ним стул с высокой спинкой. В комнате он единственный стоял без холщового чехла.

Молодая его жена подмечала все то, чего другие не замечали. Вот хищная, пугающая желтизна его глазных яблок, его покрытых красными прожилками белков. Да и сами зрачки по-зверьему светятся желтым и даже зеленым. Вот просвечивают зубы из-под вздернутой сердито губы — он слишком зло грызет пустую трубку: то ли хочет курить, то ли разозлился на кого-то. На нее? Тайком себя оглядела: не торчит ли где на ней что неряшливое, стыдное? Одежда ее находилась в полном порядке. Она всегда следила за собой. Вот Ленин и Иосиф начали говорить, и она шаркнула ножками стула по паркету, ближе придвигаясь к «Ундервуду» и взбрасывая на тыквенные семечки частых клавиш дрожащие от робости и важности момента, узкие юные руки. Вот они оба говорят, сначала Иосиф, потом Ленин, и вождь все время называет его «Коба», старой партийной кличкой, и ей кажется — подзывают собаку. Она видит точно и насквозь — будто она солнце и просвечивает Иосифа до дна — Иосиф не просто говорит с вождем о партийных распрях, о путях, которыми завтра, нет, уже сегодня пойдет молодая, вся с ног до головы облитая кровью, как пасхальный кулич красной глазурью, испеченная в гуще военных пожарниц страна: он решает свою судьбу. И она превосходно, лучше других знает: он не остановится ни перед чем. И ни перед кем.

А рабочие ее пальцы, будто вне ее воли, вне ее застывшего, стальной струной выпрямленного над смешным столиком тела, стучали, тархтели, бегали и летали над россыпью клавиш, они хотели сами жить и сами стучать, клевать мгновения, бить, и разбивать, и разбиваться, и снова и снова склеиваться из мелких, окровавленных осколков.

— Ай!

Иосиф недовольно покосился. Повертел трубку в руках.

— Што там у ти-бя?

— Простите! — Она сосала палец. Вынула его изо рта и рассматривала, будто увидела впервые. — Я ноготь сломала! Попал... между клавишами...

— Вытри, — брезгливо процедил Сталин и помахал трубкой, — вытри, па-дуй и пра-далжай дальше! Нам нэ-кагда хныкать и ста-нать! Ра-ботать так ра-ботать! Взятась — ра-ботай!

Ленин смотрел на Иосифа так потерянно, будто они были связаны одной веревкой, и вот ее разрубили.

Вождь говорил медленно, и Сталин тоже говорил медленно; поэтому молодой легко было успевать за ними, только палец болел, и из-под ногтя чуть сочилась кровь.

<...>

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

<...>

Она толкнула ладонью дверь.

У постели больного скрючилась на табурете сиделка.

Сиделка мирно дремала, и дремал вождь.

Молодая осторожно подошла ближе; ее шаг утишился, стал нежным и беззвучным, почти бессильным, невесомым.

Они оба не шелохнулись — сиделка и больной.

Молодая наклонилась над громадным белым, алебастровым лбом, на долю мгновения прикрыла ресницами глаза — в мгновенной вспышке увидела: памятник, гипсовый бюст и над лысым снежным лбом — красный стяг. Знамя бьется на ветру, а может, на ледяном сквозняке.

Открыла глаза. Створку окна, неплотно прикрытую, распахнул ветер. Ветер толкнул оконное стекло, будто властной рукой, и влетел в теплую спальню, где пахло валерьяновым корнем, влажной шерстью и мятой.

Ветер нагло вошел в комнату и шагал по ней, носился из угла в угол, толкался и свистел.

Надя неслышно, как прима в балете, на носках подлетела к окну и так же осторожно, как ходила, прикрыла оконные створки и чуть пристукнула по раме кулаком, чтобы ветер не сумел еще наозорничать.

На носочках вернулась к кровати.

Сиделка похрапывала. А вот больной открыл глаза.

Из-подо лба на Надю смотрели эти глаза.

Отдала бы она жизнь за этот взгляд? Так просто и легко, счастливо и восхищенно, свою жизнь, маленькую никчемную жизнешку, ржавый винтик в громадной машине, смазанной ленинским маслом, за ленинский мудрый и твердый взгляд, ведущий к всемирной революции и победе коммунизма по всем мире, хотели отдать многие. Но сейчас этот взгляд не был ни зовущим, ни жестким, ни сверкающим, ни мудрым. Глаза больного человека жалобно глядели на нее, искали ее глаза и, найдя, радостно заискрились непонятными слезами.

Да, да, по впалым щекам текли слезы и скатывались к аккуратной треугольной бородке, и таяли в ней. Надя видела: слезы рождаются и выливаются сами собой, он не хочет плакать и все-таки плачет.

Долго мы так будем глядеть друг на друга, кусала она губы, мысли сшибались и разлетались, долго ли мы вот так выдержим, я же сейчас тоже заплачу, а зачем я сюда пришла? Она поднесла пальцы к вискам, словно вспоминая, мучительно пытается

вспомнить, что же ей здесь надо, а ничего не надо, кроме шоколада, танцевала карапет девчоночка пышна, казачок молодой девчоночку тиснул, шоколад недорог, стоит рубль сорок... стоит рубль сорок...

Она присела на корточки и, плохо понимая, что делает, ладонями стала вытирать вождю слезы со щек, непонятно, торопливо приговаривая, а что, не осознавала, себя не слышала.

— Шоколада нету... на тебе конфету... на тебе конфету... не плачьте... прошу, не плачьте, не надо... нету шоколада... но я раздобуду... я вам раздобуду... я вам...

Он выпростал из-под одеяла левую руку и на удивление крепко схватил Надю за запястье. Его пальцы обожгли ей кожу.

— У вас... у вас температура... я сейчас...

Она хотела встать, выпрямиться. Он еще крепче вцепился в ее руку. Не пускал.

Мотал головой.

— Нет... нет... не...

Она поняла: не уходи, не надо, мне страшно.

Сиделка, откинувшись на спинку укутанного в холщовый чехол стула, храпела уже смачно, сладко. По-настоящему спала. Ленин покосился на спящую. Надя увидела яичную желтизну белков, расчерченных красными узорами сосудов. Кровоизлияние в глаз! Это лучше, нежели кровоизлияние в мозг. Врачи говорят: спаси и сохрани от вторичного удара! Как ему нужен покой! А вокруг него все прыгают, танцуют, снуют, бесятся, беспокоятся. И эти разговоры, эти проклятые сражения возле его постели! Кто дал им всем, да, всем им, партийным начальникам, право на битву — здесь, в священной спальне святого больного?

Она думала о нем так, как верующий думает о святых мощах; только мощи были еще живые, и драгоценной раки для них еще златокузнец не выковал.

— Владимир Ильич... у меня ноги устали, на корточках сидеть...

Он сквозь слезы улыбнулся ей одним углом рта.

И тут она совсем уж с ума сошла. Она себя забыла, и кто она такая, и зачем она тут; она видела перед собой только эту улыбку, и улыбка эта вынимала из нее душу, а из ее бьющейся, как птица в руках, души — ответные, светлые слезы, не соленые, а сладкие, и еще одно желание, которое надлежало тут же, немедленно, исполнить. Она ниже, еще ниже наклонилась к лицу вождя, оно приближалось, накатывалось на нее, катилось снизу и воздымалось, круглилось и бугрилось, оно было слишком рядом, все залитое слезами, светящееся, сияющее, гигантское, величиной с поле, с лес, с бугор над осенней рекой, оно мощным солнечным облаком плыло на нее, будто из открытого в ветер окна, и ей нельзя было не сделать того, что она сделала: нагнулась совсем низко, так, чтобы под ее губами оказалась щека, край бороды и край обессиленного за время паралича рта, и припала губами к этим усам, ко рту — и ток прошел по ней насквозь, ударил в темя и погас в пятках, в кончиках пальцев ног. Она перестала видеть и слышать, и она чувствовала только одно: она все сделала правильно.

Когда она выпрямилась, ее лицо все было мокро от слез больного. Но ведь и она тоже плакала. Храп сиделки прекратился. Надя обернулась. Сиделка, прижавшись спиной к спинке стула, смотрела на нее круглыми глазами безумной сороки.

Сейчас улетит. Ну и улетела бы скорей.

Мужская рука разжалась; женская рука выскользнула из живых клещей, на тонкой коже остались красные пятна.

Надя разогнула колени. Она стояла над кроватью вождя, как Эриния над ложем приговоренного.

Рука сама взметнулась, и палец показал на дверь.

— Идите, — сказала Надя сиделке, и голос ее зазвенел медью, — я сама справлюсь.

Сиделка вскочила, зачем-то стала нервно, быстро и крепко вытирать руки фартуком и трусливо пятилась, пятилась к двери, задела стул ногой, и стул упал и лежал на боку, выставив деревянные ноги, как убитый ножом в подворотне беспризорник.

Щелк! — стукнули створки дверные. Щелк! — щелкнула, свистнула под ногой половица. А может, за окном птица? Какая птица, осень же теперь! Дверь, закрыта дверь. И третья секретарша только что, миг назад, поцеловала вождя.

Может, это было век назад; она не могла бы сказать, как теперь измерялось время.

Они остались одни, и можно прикинуться свободными. Можно забыть про то, что за дверью стоят сторожа, и подглядывают в щелку, и прижимают уши к дверным доскам, и ловят скрип половиц под ее модельными черными лаковыми туфлями.

Надя осторожно, невесомо села на край кровати.

Она ощущала себя легкотелой бабочкой, и вся задача была — чтобы золотая пыльца с крыльев не осыпалась.

Важно было говорить; и сказать сейчас нечто важное. Единственное.

А может, важно было молчать. И все время теперь молчать; она еще не знала, что важнее.

Голос сам все решил за нее.

— Вы... чего хотите?.. Вы не стесняйтесь... скажите мне...

Он глядел на нее так, как раньше, в прежней, убитой жизни, исповедник глядел на священника.

Надя видела, как страдальчески изгибается рот, как живое слово ищет выхода и не находит его.

С ней что-то случилось, она стала слышать кожей и чутя дыханием; и она стала тихо, чуть слышно говорить за него, читая его мысли и тут же озвучивая их, и он обрадованно, облегченно, едва заметно кивал, и голова его дергалась на подушке.

— Хочу... чтобы меня спасли...

И сама себя перебивала, и сама — его — спрашивала:

— Хотите, чтобы вас — спасли? Хотите — спастись?.. Да, да...

Он мычал. Речь в одночасье пропала. Ее поцелуй отнял у него речь и боль. Он блаженствовал, и она нежно, медленно говорила за него. Шептала, улыбалась.

— Хочу... быть спасенным...

И брала его за руку, и смотрела нежнее, чем на ребенка, и ее слезы капали ему на запястье, и он лежал, расслабленный, счастливый.

— И я хочу вас — спасти! Я — вас! И я все думаю: как?

Рука в ее руке не шевелилась. Не вздрагивала. Это была правая, мертвая рука.

Надя осторожно клала неживую руку поверх одеяла и брала в свои обе руки — его руку левую.

И левая — шевелилась; она вздрагивала, билась, пыталась ее ладонь погладить, пыталась крепко сжать ее узкую кисть, нашарить и стиснуть нежно, ведь рука тоже может говорить, и слов не надо.

Она стала угадывать, что он мычит и бормочет, и спрашивать его; а он все кивал и кивал, потому что все это была правда.

— Вы не хотите священника?.. Вы атеист... вы не верите в Бога... нет, никогда, не надо...

Он кивал.

— Вы не хотите, чтобы вас они — лечили?.. Вы устали от этих врачебных... мучений?.. От этой... врачебной лжи...

Он восторженно кивал, и опять слезы текли, из угла глаза — в пух подушки.

— Вы устали от заботы... от этих обедов и ужинов в срок, невкусных... скудных... Он выдыхал из хрипящих легких горячий воздух.

Надя сама все сильнее сжимала его живую, горячую левую руку.

— Вы... вы одиноки!.. Да?.. Вы очень, очень одиноки... вы...

Она опять приближала лицо к его лицу. Его белое, большое, покрытое каплями пота и каплями слез, знакомое всякому человеку мира лицо заслоняло ей весь свет.

— От этого — вы плачете?.. да?..

Он уже даже не кивал; на его лице просто застыло счастье — счастье бесконечно-го понимания, растворения в другом существе, которое — тоже понимает. И мало того что понимает — хочет помочь, хочет, чтобы его одиночество перестало быть одиночеством. А стало — чем? кем?

И для чего превратилось? И для кого? Только лишь для себя?

Он думал обо всех людях мира, а остался один. И умирает здесь, вот здесь — один.

«О да, ведь он здесь умирает. А я, зачем я здесь? Зачем приставлена к нему? Чтобы записывать то, что он пытается сказать последнего, невнятного? Нет! не только для этого. Вернее даже, совсем не для этого! А зачем я тут? Меня Иосиф сюда привез? О нет! При чем тут Иосиф! При чем тут все эти люди, что снуют взад-вперед по этой старой усадьбе!»

— Что — вы — хотите?.. только не бойтесь, скажите... я — никому!.. но я должна...

Она наклонилась опять так низко, что ее губы коснулись его усов. Но это уже не был поцелуй. Это было больше чем поцелуй: ее дыхание перетекало в его дыхание, вдохи и выдохи сплетали тепло.

И она все-таки выдохнула — ему в губы — это слово.

Она уже давно услышала его, но страшно было сказать его так просто, так слышно и внятно.

— Убежать?..

И он повернул голову на подушке так резко, властно, и такой дикой, почти звериной, великой радостью сверкнули его глаза, и заискрились, как встарь, как раньше, когда он был возраста молодой, когда был он — сильным и молодым.

— Убежать!

Он кивнул, раскрыл ладонь широко, рука Нади легла ему в ладонь, и он, как мог, изо всех сил, крепко, радостно сжал ее.

И так застыли: он — лежа, она — сидя на краю кровати, рука в руке, счастливо глядя друг на друга, сияя глазами, обдавая друг друга огнем глаз, как брызгами свежей, солнечной воды.

— Да, убежать!

И тогда он дрогнул губами, раскрыл рот, как галчонок в гнезде, и из-под его рыже-седых усов вырвался то ли крик, то ли хрип:

— У-бе-жать!.. да, да...

«Мы не придумали ничего лучшего, как отсюда убежать. Это ужасно! Это же невозможно».

Но она, больше чем кто-либо в этом белоколонном старом доме, и больше, и яснее, и непреложнее, чем кто-либо на земле, знала: им придется убежать, потому что такова была его воля, последняя воля вождя, и это было не только желание — это была настоящая вольная воля, и она вдруг поняла: ведь она тоже ее хотела, ей она, воля, тоже была нужна, как воздух и ветер — ее воздух, ее ветер. Ее осеннее поле. И пусть они замерзнут под дождем, под близким снегом, он пойдет завтра и засыплет дороги и скакты крыш. Пусть ноги их утонут в грязи. А может, им помогут, и они уйдут далеко. Уйдут навсегда. Кто поможет? Господь? Но Его нет. Ленин сам смеется над бородастым боженькой. Он его ненавидит, как ненавидят врага, что раньше был загадочным

другом. Люди? А разве люди могут помочь? Они могут только навредить. Люди лишь притворяются, что они любят; на самом деле они ненавидят, и только.

Она вдруг с болезненной, страшной ясностью поняла: Иосиф тоже ее ненавидит, и он женился на ней не потому, что ее любил и любит, а потому, что ему надо было ее присвоить — то, что ненавидишь, если это присвоишь, становится безопасным, не так сильно мучит тебя. Иосиф ненавидит Ленина — он бы с радостью выстрелил в него на охоте или отравил его, прямо здесь, в его спальне, а может, на митинге, где выступал бы обретший дар речи Ленин, из толпы, переодетый простым рабочим, бросил в него камень, и попал ему в висок, и убил бы наповал. Люди ненавидят, а кричат на весь мир, что любят. А те, кто любит Ленина, их миллионы, быть может, миллиарды, они что, все тоже врут, что любят?

Закрывать глаза. Нет, не закрывай! Смотри! Смотри вперед, смотри внутрь себя! Да, сегодня они любят его, а завтра, если его убьют, полюбят другого! Народ — это тоже человек! Он забывает и изменяет! Народ — это одно существо, и оно несчастное, оно глупое и ненавидящее, оно любит только то, что делает ему хорошо, и только того, кто делает ему это хорошее! А нет, нет, совсем нет! Не так! Народ любит еще и того, кто ничего хорошего ему не делает, а издевается над ним, мучит его, держит его в черном теле, и губит, и казнит его! Любовь народа может быть куплена совсем не хлебом, не миром, не землей — она может быть заработана бесчисленными смертями, и в результате — смертью самого этого народа; его хозяин процедит сквозь желтые прокуренные зубы: ничего, не жалею, народ — это куча мала, это тесто, это сапожная вакса, это муравьи и клопы, стада, и надо баранам резать глотки! Все равно они потом еще больше народятся! Убить, чтобы родить! Казнить, чтобы в страхе держать! Чтобы те, кто хочет тебя ненавидеть, любили тебя лишь за то, что ты — сильнее их всех! Жесточе! Хитрее!

— Убежать, — сказала Надя сухими губами, и их омочили, ожгли капли слез, у нее было чувство, что ее глаза — две горящих свечи, и горячий воск стекает ей по щекам и губам, застывая, — убежать, да. Мы убежим.

Она опять склонилась над больным.

Глаза в глаза. Они теперь были связаны, и связь эта была крепче, чем все крепкое, испытанное ею в короткой глупенькой, невнятной, как плохо выученный урок в гимназии, сладкой, как дешевая шоколадка, бедной жизни.

Губы в губы.

— Мы убежим из Горок. Я буду готовиться.

Она видела, как дернулся на беззащитной шее кадык.

— У меня есть рюкзачок. Старый ягдташ отца... я его с гимназии помню. Я в нем сюда продукты из Москвы возила. И еще котомка.

Он снова сглотнул. Он не мог говорить от счастья.

— Когда я соберу вещи, я дам вам знать.

Птица села на карниз, ходила по карнизу, махала крыльями, что-то старательно клевала.

— Лежите спокойно. Отдыхайте. Мне нужно время.

Она внезапно стала твердой, как сталь молота. Или крестьянского серпа.

— Вы поняли меня? Я вас поняла.

Она обеими руками взяла и пожала обе его руки.

Птица еще потопталась немного на карнизе, раскинула крылья, взвилась, улетела.

И молодая улетела: вспорхнула с кровати, полетела к двери, вылетела в нее, будто сквозь доски просочилась, ударив в них грудью, сердцем, клювом, молодым крылом.

<...>

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Она не помнила, как им удалось миновать охрану.

Может, она что-то такое бодрое, веселое говорила охранникам; может быть, вождь тоже пытался что-то говорить, и у него получалось. Может, часовые смотрели на нее молча; а может, что-то отвечали ей. Она все забыла. Сразу и навсегда.

Да и не нужно было ничего помнить.

Люди помнят только самое хорошее и яркое.

Или самое ужасное.

Нет, нет, твердила она себе, когда они шли мимо охраны, ужасное-то как раз и не помнят, забывают, — и тут ей довелось чуть оглянуться, слегка повернуть голову, будто бы кокетливо, а на деле сторожко и подозрительно, — она хотела неувимым быстрым взглядом схватить и понять, будут ли их преследовать, остановят ли их на полушаге, поймут ли и силком повернут обратно, — и тут она увидела широко открытые глаза ближнего часового; светлые, слишком светлые, как белесое утреннее небо, широко стоящие глаза, и широкие скулы, и широкий большой рот: рот улыбался, да, этот молоденький часовой улыбался ей. А может, вождю. А может, им обоим вместе.

И ее толкнуло изнутри. Вернуться! куда они сорвались! куда бредут! назад! Эти крики раздавались внутри нее, она слышала их будто издали, из-под гигантской выгнутой арки прозрачного осеннего неба. Небо вытекало из-под арки холодной светлой рекой и текло им в лица, текло мимо них, и важно было идти вдоль этой реки, по ее уже кем-то большим и важным проторенному пути, не потерять из виду этот светлый поток. Но здесь же нигде нет такой большой реки! Здесь рядом только узенькая, похожая на кривой восточный нож Пахра. На кого похож этот скуластый молодой солдат? Не вспоминать! идти вперед!

У человека есть только два пути — вперед или назад.

А если один — ну, так ему тогда повезло.

Ленин тяжело переставлял ноги, подволакивал правую ногу, и все-таки он шел, и это был прогресс в излечении паралича, и мысли у Нади в голове толклись однодневной сумасшедшей мошкаррой, да, он выздоровеет, да, он вкусит свободы и вдохнет вольный холодный ветер, и это она вылечит его, хотя она не знает, куда она ведет его, но не думать об этом, ни в коем случае не думать, это слишком страшно, об этом люди, когда делают это, то, что делает сейчас она, никогда не думают.

Ленин смотрел на нее из-под шляпы живым, смышленным глазом. Это значит, она шла слева.

Фетровая мягкая шляпа, у нас в Стране Советов таких не делают, смутно думала она, значит, английская. Как ее свитер. А у нее шляпа тоже английская? Или германская? Почему все хорошее — на жирном, сытом Западе? Разве у них до революции не было отличных шуб? Отличных мягких свитеров? Твидовых костюмов? Шикарных габардиновых плащей?

«О чем ты думаешь! О шике! Нашла о чем думать! Теперь!»

Между ее лопаток втыкался чужой взгляд. Он прожигал горящую дыру в ее позвоночнике. Она, таща тяжелого вождя на согнутой руке, в другой руке легко неся тяжелую сумку, пошевелила лопатками, пытаясь вспугнуть, прогнать со спины, как будто голой, не одетой, продрогшей на ветру, этот назойливый долгий взгляд, это горячее сургучное пятно, — но напрасно, оно все пылало, это чужое живое клеймо, у нее на спине, а они все шли, медленно и важно, будто и в самом деле прогуливаясь по свободному, еще помнившему эхо охотничьих выстрелов Ильича, прозрачному лесу,

и лес отсвечивал перламутром берез и алостью осеннего лиственного ковра под их тяжелыми, неповоротливыми ногами, — как же трудно людям обманывать людей! как трудно уходить от места, где жил, и вот ты ушел и, значит, не живешь уже здесь! и как трудно сбросить, скинуть с себя прочь эту пылающую мету!

Надя замедлила шаг. Ее ноги стали преступно легкими, ей чудилось, она без труда приподнялась и плывет над землей. Ильич упрямо смотрел вперед. Он всегда смотрел вперед. Посмотреть назад значило посмотреть на смерть; а он не хотел туда смотреть, в это черное земляное лицо, в эти глаза, доверху налитые тусклой, сухой и вечной пустотой.

Он и шагал вперед, вцепившись в Надину руку, повиснув на ее руке тяжелой живой гирей.

И не остановить его было. Ни ей. Ни кому другому во всем свете.

Но она все-таки оглянулась еще раз.

Она хотела узнать. Вспомнить.

А в это время, пока она оглядывалась и искала глазами эти серые, холодные глаза, боец взял да и прикурил: держал меж сложенных ладоней немощный огонь самокрутки. И втягивал щеки, наслаждаясь дымом, напрасно и смешно согреваясь им на широком светлом холоду.

Пыланье между ее лопаток исчезло. Оно переместилось в ладони бойца. Они пошли дальше, и Ильич смешно и жутко вез по земле ногой, загребая носком бота палые листья. И Надя изо всех сил просила широкое небо, чтобы никто из солдат не вскинул винтовку, не выстрелил в воздух, предупреждая, для острастки.

Они сначала вошли в лес. Лес вдруг живо, весело и порывисто задышал вокруг них, зашуршал, зашевелился, затрещал сухими ветками, засвистел и загудел; было ощущение, что под ногами гудит еще помнящая летнее истомное тепло земля. Нет, земля уже забывала, какая она прежде была горячая. Холода наваливались всю прозрачной, ветреной голубизной нежного неба. А лес, непонятно почему, как летом, в былые времена, вдруг запел и засвиристал — то ли последними безумными птицами в наполовину нагих, тоскливых ветвях, то ли синим ветром в верхушках елей и берез.

Да, это пылкий, как небесный любовник, ветер налетел и стал колыхать, вертеть и гнуть вершины длинных тонких березок, кучно росших там и сям; березы сменялись мрачными черными пирамидами елей, ели тут стояли как охранники, кого, что они охраняли? юность берез? царский перламутр драгоценного неба? Царя казнили, и жемчуга и перламутры русской короны уже давно лежали в мрачных сейфах Гохрана. Новая власть по-царски? нет, по-советски, четко и жестко распорядилась всеми лесами и полянами, всеми оврагами и лощинами, всеми полезными ископаемыми, месторождениями и рудниками, и еще как распорядится, все березы гребенками железными причешет, все сосны по ранжиру построит, всему живому напишет новый устав! Так Иосиф говорит. А он всегда знает, что говорит.

Они шли между гудящих на ветру берез, слушали этот живой тревожный гул, Надя ежилась, ее кожа покрывалась гусиными пупырышками под колючей шерстью свитера; на Ильиче плохо, криво сидело, будто с чужого плеча, небрежно расстегнутое пальто; и Надя радовалась и хвалила сама себя, что под жилетку она ухитрилась напялить на вождя еще и теплую душегрею. Душегрею эту связала вождю его сестра, Мария Ильинична. Серая, грубая овечья шерсть. И ее свитер такой же: жесткий и грубый. Что в Англии, что в России — безмозглые овцы везде одинаковы. А люди? Они везде смогут сделать мировую революцию?

«Но мы первые начали», — бормотали ее холодные губы, и ее глаза глядели в холодное небо.

Лес, свистящий и щелкающий вокруг них, пугающий их внезапным резким треском мертвых стволов под ветром и мертвых веток под их ногами, сам вывел их к проселочной дороге. Они медленно пошли по дороге, и Надя все удивлялась — как это за ними не бросились в погоню, как не разыскивают их по всему лесу с собаками, с ружьями. Ружья и собаки! Да ведь они же не дичь, и нет за ними охоты! Или есть? Уже есть?

Она поставила сумку на цветное слоеное тесто листвы, прижала палец ко рту, делая знак Ильичу: тише! — и вытащила из сумки ягдташ и котомку. Ягдташ вскинула на плечи. Котомку взяла в руку.

Пошли дальше, оставив пустую сумку на съедение ветру и лесу.

Чуть слышный шум возник поодаль, за их спинами. Надя быстро обернулась. Шум вскоре превратился в грохотанье. К ним, сзади, медленно подъезжала, потряхиваясь и уткой переваливаясь на ухабах дороги, глубокая, как кастрюля для борща, подвода. В подводе сидел мужик; его сивую жидкую бороденку трепал ветер, а синие глаза мужика из-под мрачных бровей двумя ледышками втыкались в пыль, в землю перед копытами сивого коня.

Мужик увидел их и хрипло крикнул:

— Эгей! Посторонися!

Они послушно встали у обочины. Сивый конь, с сивым, беспорядочно и жалко мотающимся по ветру облезлым хвостом, подходил все ближе. Подвода тряслась пусто, гулко. Порожним ехал мужик. Поравнявшись с беглецами, мужик окинул их светлым, свежим синим взглядом из-под нависших седых надбровных кустов, ледяные иглы пронзили Надю насквозь, а Ленин глядел в сторону: он не глядел на дорогу, глядел внутрь себя.

— Тпру-у-у! — приказал коню мужик.

Спрыгнул с подводы. Надя бессмысленно шагнула назад.

И бежать было бессмысленно. И стоять тоже. Сейчас мужик узнает их обоих, прекрасно узнает Ленина, о том, как Ленин выглядит, не знает в СССР только слепой.

Мужик светло, бессмысленно и беззубо улыбнулся. По его изможденному, с впалыми щеками, морщинистому лицу было хорошо видно, что он голодный, бедный и все терпит. Как то делали все такие мужики во все века. Не только сегодня. А всегда.

А что изменилось?

— Ай подвезть? — участливо спросил мужик. — Видю, што утомилися! Издаля видать, што устали!

Надя куснула нижнюю губу. Ее зубы блеснули на солнце.

Она не верила, что повезло; так не бывает. Сейчас все разрушится.

Но мужик смотрел весело, сине и ледяно, и хорошо видно было по его глазам и доброй беззубой улыбке — ему невдомек было, кто они такие. Он видел просто двух усталых путников, старика и девушку, которых надо было подвезти куда-нибудь. А куда, они сейчас сами ему скажут.

Парочка молчала. Мужик покосился туда, сюда. Конь раз, другой цапнул копытом сухую солнечную землю. Тонко завилась в воздухе пыль.

— Ну дык што жа? Едем ай нет?

Надя дернула Ильича за рукав. Он воззрился на нее здоровым глазом. Другой глядел выпученно, остановленно; блестел, морозно-стеклянный.

— Да! да! едем! сейчас...

Она подтащила вождя к подводе. На подводу еще нужно было влезть. Надя с ужасом поняла, что Ленин на подводу забраться не сможет.

— Владимир Ильич... вы... вот так ухватитесь рукой...

Она показывала как. Ленин смотрел радостно и бессмысленно. Его щеки странно горели, красно и пятнисто пылали, будто он захворал корью и покрылся густой красной сыпью.

Он не мог повторить ее жеста.

Конь смиренно стоял, мотал головой. Потом опустил голову низко, к самым бабкам передних ног. Белый, сивый старый конь. Где она видела его? В каком детском сне?

Мужик все понял. Подступил к Ленину. Быстро и бесцеремонно схватил его, как кота, поперек живота. Стал поднимать вверх, тянуть, и Ленин вытягивался вслед за его руками, пальто билось на ветру, но ноги в тяжелых башмаках не отрывались от земли. Тогда Надя наклонилась и, еле живая от ужаса и радости, еще не осознавая всей своей наглости и того, что она сейчас делает, ухватила вождя за обе ноги, за парализованную и за здоровую, и вместе с мужиком они наконец приподняли его, оторвали его от земли и усадили, а вернее сказать, уложили в подводу. Вождь не удержался в сидячем положении. Он бессильно тут же повалился на дно подводы и странно и смиренно подложил здоровую левую руку себе под щеку, словно спать собирался, — и да, правда, вот уже закрыл глаза. Надя видела, как раздуваются его ноздри. Он дышал спокойно. Спал? О чем-то своем думал? Она еще не верила своему счастью. Ей казалось: внутри счастья таится подвох.

Мужик ловко запрыгнул на облучок.

— Ну дык куды вам-то?

Надя все еще стояла около подводы.

— А вам?

— Мене-то? А в Федюково!

— Нам тоже туда! — крикнула Надя, как на пожаре, будто бы мужик был глухой.

— Слышу, барышня, не ори ты так! Прыгай, што застыла, ровно зимня кулига!

Она перелезла через облучок и ввалилась внутрь подводы, а как, опять не помнила. Помнить ничего не надо было. За нее все помнили руки, ноги, плечи, губы, ловившие ветер, незрячие глаза, что старались глядеть весело и беззастенчиво, и у них получалось.

Ленин лежал на разбросанном по дну подводы сене, с закрытыми глазами. Сено еще пахло июлем — терпко, перечно и пряно. Надя, толком не понимая, что она делает, улеглась рядом. Сено, как вино, ударило ей в голову. Мир стал медленно и важно, будто в медленном старом вальсе, кружиться вокруг нее. Она была веретеном, а мир был белой, сивой нитью. Мужик вытащил из-за голенища кнут, взмахнул кнутом и не ударил, а будто огладил им сивую старую спину коня; конь встряхнул жиденьким хвостом, лягнул синий воздух, коротко заржал и потянул подводу вперед.

<...>

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

<...>

Наде показалось, они через миг-другой пристали, как лодка с колесами, к чужому крыльцу. И только остановились — из-за подводы выскочила баба, старая не старая, молодая не молодая, без времени и без стыда, замахала руками, как мельница, перед мордой коня, перед мужиком, выставившим вперед острые колени в туго-натуго перевязанных веревкой онучах; бабенка стала мотаться перед телегой, как язык огня, и Надя со страхом глядела: понева темная, вишневая, рубаха желто-солнечная, поверх рубахи напялена пуповиха — дырявая, да красными крестами вся расшита, — все когда-то нарядное, да теперь такое поистрепанное, что впору чучело в те тряпки одеть да на огороде, на задах, птиц пугать выставить.

Ветер мотал и вертел цветные лохмотья. Бабенка раскинула руки и пошла, как мужик, вприсядку.

— Эх, радуга! Да ты в полнебушка! Мене не надоть мясца, надоть хлебушка! Эх ты мамушка родная, не пушай в избу сватов! Пыду замуж за солдата, ждати двадцать пять годов! И-и-и-и-йих! Йа-а-а-а!

Вскочила и завертелась быстрой веретена. Резко стала — и упала, и юбки задрались, и Надя глядела на задранные сверху тощие голые ноги, на костлявые грязные, босые ступни и тяжелые, лошадиные мослы коленей.

Помочь, вылезть из подводы, подхватить бабу под мышки, кто она, зачем она так страшно пляшет, но Надю опередил сивый мужик, он слез наземь, подбежал к бабенке в желтой рубахе, ловко поднял ее с земли и сердито, но не сильно, а вроде бы шутя наподдал ей по тощему заду.

— Эй! Ты! Федура! Не шуткуй ты так, гостей напугашь! Гости тебе привез! А гости те, дивися, не простыя, гости те дохтура знатныя! Приветишь, ай нет? Да чую, чую, што приветишь! ты ж у нас приветлива!

Бабенка воззрилась на Надю.

Подхватила края поневы себе в кулаки — присела — и ну давай мести поневой пыльную холодную землю, подметать, словно метлой. И так, поневой землю подметая, приближалась к подводе и к застыло сидящей Наде.

— Ах ты батя, ты мой батя, ко мене не подлязай! Я залезу на полати — самовар в мене кидай!

— Федурка! Фатит блажить-та!

Надя уже слишком близко видела широко расставленные, под коровьим, упрямо скошенным лбом, бешеные сливовые, коровьи глаза бабы, ее раздутые ноздри, ее раскрытые губы — в улыбке недоставало зубов, ветер влетал ей в щербатый рот.

— Хочу и блажу! А што ето, ты грозилси гостями, Макар, а тут сидить одна-едина гостьюшка?! што ето, обознался ты?! али у тебе в глазенках двоитси?! негоже, Макарка, негоже! И навроде сметливый ты мужик! а вот путаесси в цифирях, все никак человекоев не сочтешь! а ты по головам, по головенкам считай-то! как, навроде, скотов! и у тя получитси!

— Ты, — осердился мужик, — загляни-ка унурь подводы, слепышка!

Бабенка поднеслась всем тощим бешеным телом, будто ее ветром поддуло, к краю телеги — и заглянула, и охнула, и даже, как мальчонка, сквозь трубочкой сложенные губы свистнула:

— Фью-у-у-у-у! Да тута труп валяется! Што с собою мертвяков возишь, Макарка! вот то воистину негоже! Мертвяк, и уже смердит! Фу-у-у-у! — Она прижала к носу ладонь. — Кати с им прямехонько на погост! Што по дяревне раскатывашь! И попа, попа не забудь с собой прихватить! Девка-то вон ни жива ни мертва сидить! Инеем ты, што ль, матушка, уж вся покрылася?! — Баба обернула к Наде лицо, и Надя ужаснулась. Сливы-глаза превратились в два озера огня, по щекам бежали дикие морщины, и волосы надо лбом бабы шевелились. Все разом поднялись. Надя сообразила, что их взметнул ветер. Но все равно страшно было; и бесповоротно все. — Инеем, дочушка! Морозом окаанным! Ледом, язви, ледом! Черта дочь ты, вот каво дочь! А пошла ты прочь! Каво жалаю, привечаю! Кому жалаю, тому налью чаю! Чаю, чаю накачаю, кофею нагрохаю! Повезуть дружка в солдаты — заревлю, заохаю!

— Заткнися! — страшно заорал мужик.

Баба бросила голосить частушки. Вся опала, волосы повисли, понева обвисла, босые ноги застыли в пыли.

— Да я што... да вы не стесняйтеси... давай ко мене, в избу... у мене шас никогошеньки... одна шас я... одна как перст... давай, дочка, помогну тебе из телеги-то батьку твою вытащити...

Надя и бабенка бестолково толкались возле подводы, мужик отодвинул их плечом.

— Уйди, бабы.

Сивый мужик наклонился и ловко, будто отец — дитяню, подхватил Ильича: одною рукой под мышки, другой под колени, и приподнял так легко, будто вождь ничего не весит, совсем ничегошеньки. И так, на руках, понес Ленина к крыльцу избы, и вошел с ним на крыльцо, и открыл дверь ногой, и внес его в избу. Дверь глядела на Надю и на безумную бабенку черным пустым квадратом. И Наде казалось: за этим квадратом и впрямь не изба никакая, с человечесьей утварью, с самоварами, чугунами, печью и лавками, а — пустота.

Надя подхватила котомку. Ягдташ прижимался к ее спине.

Они покорно, как побитые собаки, вошли следом за мужиком Макаром, что нес Ленина на руках, в избу Федуры, и Надя огляделась, опять потерянно и потрясенно, и не увидела в избе ничего, кроме голой лавки и громадной русской печи, — ничего, ни столов, ни стульев, ни чугунков, ни кастрюль, ни чашек и ложек, ни ухватов и кочерег, ни серпов, висящих на стене на гвозде, ни сундуков и ларей, где хранились бы мешки с мукой и собранные по лету тыквы, ни связок лука и чеснока на стенах, ни ходиков, чьи гирьки медленно дотягивались бы до половицы и отмечали прошедшие трудовые полдня, а потом и весь день, — пустота и тишина. Бревна сруба и белизна печи. Лавка и тусклое окно. И горечь в воздухе.

— Скажите, пожалуйста, — спросила Надя, — а где тут у вас можно помыть руки?

И молчание, а потом громкий хриплый хохот были ей ответом.

* * *

Сивый мужик положил Ленина на лавку, и Ленин открыл глаза.

Федура, не стесняясь ничуть, прямо при них при всех стащила с себя расшитую алым крестами ветхую пуповиху, потом выцветшую желтую рубаху — под ней оказалась исподняя сорочка, еще более ветхая, почти дотла источенная временем; через исподнее бесстыдно просвечивало Федурино худое тело. Она вся была похожа на оглоблю, лишь нарочно, для смеху, обряженную в бабьи одеянья.

Нет, здесь никто и ужина не сготовит, мрачно думала Надя, никто на стол и чугуна горячих щей не поставит, мяса тут нет, и капусты нет, и свеклы нет, да нет и стола; а ведь Ильича надо накормить горячим, он открыл глаза, значит, он пришел в себя, значит, он сейчас даст знать о том, что он снова все видит, слышит и понимает, значит...

Она подошла к лавке, бросила котомку, стащила ягдташ и наклонилась над вождем.

— Отец, — дрожащим голосом еле вымолвила она, — отец, как вы?

Пошупала его лоб. Лоб был мокрый и холодный. Жар ушел, упал в мышинный угол за голую лавку. Глаза вождя искали ее глаза, и не напрасно искали: нашли.

И Надя не могла оторвать своих глаз от его пристального, не тусклого, как в бреду, а снова ярко-горячего взгляда.

— Где... мы?

Надя взяла в обе руки и крепко сжала его руку.

И рука, как и лоб, была холодная и влажная.

— Мы?... убежали...

Хотела сказать это весело и сильно, радостно, приободрить его, а вышло нежно и горько.

В избе все сильнее пахло полынью.

Будто бы час, другой назад тут варили горькую лечебную настойку.

— Убежали... — медленно, понимающе повторил больной.

Глаза под иссеребра-рыжими бровями замигали, будто хотели заплакать, судорожно задергались веки, и вдруг в глазах этих родилось веселье почти плясовое, бес-

шабашное, словно он слышал все безумные частушки, что выкрикивала на улице бо- сая Федура, а сейчас их все, скопом — не глоткой, а глазами — повторил.

Сивый мужик огладил, как коня, беленую печь.

— Тепленька, — одобрительно выдохнул, — Федурка, знать, внове топила. Ты не бойся Федурки, — мужик положил чугуноннo тяжелую руку Наде на плечо, — она без- вредна баба, ешшо и добреца какого тебе сделать. Не печалуй, и насытит! у ей в печи завсегда чугунонн с крапивными щами хороницца. Сметанки нетути, ето правда што. И хлеба нетути. Да вот, на возьми, пожуй, — пошарил в кармане портов и вытащил на свет, как мышонка, серую горбушку, — пожуй, пожуй! Маненько крепше ста- нешь, дочка. И дохтура свово, батюшку, понасыть. В щах размочишь! Они, чую, ешшо теплы.

Мужик Макар снял руку с плеча Нади и подошел к печи. Сунул в ее зевло обе ру- ки. Вынул черный страшный, огромный, с медвежьей голову, чугунонн. До ноздрей Нади донесся травный, масляный дух. Чугунонн без крышки, и медленно плещется, перевали- вается в нем темно-зеленая жижа.

— Точно, крапивны. Таких бы щец и я похлебал, а, не отказалси б!

— А где у нее тут посуда? — робко спросила Надя.

Сельская дурочка, как хитрая лиса, запрядала ушами, услышала, о чем возница и де- вушка шепчутся. Подскочила сама к печи, взяла из рук у мужика чугунонн и поставила на пол. Капли щей выплеснулись на прогнившие половицы. Миг, и дурочка подскочила к печке, закинула руки кверху, шарила в темноте, вынула ящик, в нем стеклянно, звонко брякнули пустые бутылки; поставила перед лавкой, из-под лавки вытянула картофе- льный мешок, накрыла ящик, смешной, как походный, стол получился. Чугунонн со щами уже стоял на ящике, и Федура уж опять в зеве печки шарила, гремела деревянными щербатыми, обкусанными ложками в руке, будто на тех ложках жаркую кадрили играла.

— Ись, ись! Лопай, не ленись! Вся така наша жись!

Дурочка всунула ложки в руку Нади, в руку Ильича, протянула мужику.

— Встанемте... отец...

«Что если он сейчас возьмет и меня отругает нещадно тут, при всех, за этого ду- рацкого „отца“», — думалось ей потешно и горестно. Рука ее сама закинулась Ильичу за спину, она поднимала его с лавки, и он силился сам встать, и у него получилось встать быстро, гораздо быстрее, чем он вставал с постели в усадьбе: и глаза горели, и скулы вишнево румянились, и близкий запах пустых крапивных щей обвевал лицо слаще, пьянее дорогого французского вина.

— Федурка! Чем заправила, ай? Постным маслицем?

— Игде то масличко, не видала-не слышала я! в чугунонн лила, да мимо-то попала я! Давай налетай, с пылу-жару-ти хватай!

И первой дурочка запустила ложку во щи; и подносила ко рту, и громко втягива- ла в себе гушу, уродливо, утиным клювом, вытянув бледные губы. Ленин опасливо покосился на бабенку, и окунул в щи ложку, и, неумело зачерпнув левой рукой, вы- лил темную гушу себе на штаны. Надя промакивала пятно носовым платком.

— Не огорчайтесь, отец... надо солью посыпать...

— Не поваляшь, не пойишь!

— Тихо ты, замолкни, лучше б молитовку прогундела...

— Да каки щас молитовки, Макарка! Щас одна молитовка: спаси-сохрань! и вся дребадань!

Надя аккуратно размачивала во щах серую мышиную горбушку. Ей чудилось: гор- бушку и вправду мыши погрызли, обкусали. Когда черствятина превращалась в по- датливую мягкость, она своєю рукой подносила горбушку ко рту вождя. Он, не гля- дя, но чувствуя возле себя дух хлеба, послушно открывал рот. Жевал медленно, закры-

вая глаза от восторга. Улыбка рвалась с его губ, но он никак не мог улыбнуться. А Надя все равно понимала: он — улыбается.

Они, все вчетвером, двое мужчин и две женщины, хлебали крапивные щи, пока в чугушке не показалось, сквозь жижу, черное дно; и тут Надя сообразила, что крапива-то осенняя, не весенняя, значит, пользы в ней для организма никакой нет. Она вытерла Ильичу рот, усы своим платком, обшитым еще довоенными кружевами, и дурочка зацокала языком:

— Ах, ха-хах! Каково заботицца-то дочь! Небось сляжет темна ночь...

Ловко, незаметно упрятала полегчавший чугунок обратно в печь. Сивый мужик сурово глядел на широкую длинную лавку, голую, как зимняя земля.

— Федурка! А што, совсем уж ничаво нету, на што возлечь, штоб помягше? И чем принакрыцца?

— Снежок-от на погосте принакроить!

— Фу, греховодница. Хоть пук соломы со двора неси! И сабе на пол кинешь!

— А я на печи, все на стол мечи!

— На печке-то гостыюшку положи.

Вечер синими чернилами лился в бельмастое крохотное оконце, наливал тьмою избу, и для того, чтобы видеть лица и руки друг друга и не упасть во тьме, если кто захочет выйти вон по нужде, надо было зажечь что угодно: лампу, свечу, лучину. Макар озирался по сторонам.

— Свет, свет...

Махнул рукой, рукав мотнулся, запахло соленым, горьким потом.

— Што свет? всюду жа тьма, тьма...

— Да ничаво. Гостям-то хотя огарок запали!

Надя сидела на лавке рядом с Ильичом и держала его за руку.

Все это время, пока они ехали сюда и пребывали тут, в этой курной избе, больше похожей на баню по-черному, она держала его за руку, держала и нянчила его руку; и она так привыкла к тому, что из его существа постоянно перетекает в ее тело это слабое, живое тепло, что, когда она на время выпускала его руку, она тревожилась, смутно тосковала по этому великому чувству тепла, боялась, что кто-то другой возьмет и присвоит, и, нагло смеясь, похитит это тепло, уже по праву ей принадлежащее; по какому праву, спрашивала она себя, кто я такая и кто он такой, я же все знаю, все понимаю, — но руки отказывались понимать то, что знала и лелеяла бедная голова, руки и тело соединились с чужим телом, и через это робкое, тихое тепло, что каждый миг текло и вливалось в нее, она сроднилась, накрепко и бесспорно связалась с этим человеком, которого боялось и которым восхищалось полземли; рука и рука, как просто, и если бы они не сбежали, это было бы не достигаемо никогда, она никогда бы не испытала этого величайшего, пьянящего чувства родства, полной принадлежности, служения, связи, приращения — счастья.

Они, все четверо, сидели перед ящиком с пустыми бутылками, прикрытым грязной, в ляпушках куриного помета и желтых иглах соломы, мешковиной, и молча смотрели на ящик. Поели, размлели, ночь надвигалась, и говорить вроде было уж и не о чем. Надо было рано лечь и рано, по-крестьянски, заснуть.

Люди в усадьбе ложились поздно. Надя перепечатывала статьи — вождя, Иосифа, Троцкого, Зиновьева. Иногда вдали, будто в парке или на берегу Пахры, тархтела еще одна пишмашинка — это усатая партийная косточка, Марья Гляссер, тоже колотила сухими деревянными пальцами по черным клавишам. По коридору звучали шаги: тяжелые — Епифана, маленькие и меленькие — его подсобного парнишки Ивана, нежные и осторожные — Маняши, сестры вождя. А потом кто-то еще шел, и будто

и не шел, а полз. Это шла мимо молчащих комнат, по сумраку коридора жена Ильича. Она выносила ночной горшок.

— Ну, я пойду, ить позднеенько, — сивый мужик встал и затеребил на груди рубаху, — нашедши вы, гостечки, свой приют, а мне пора и честь знать, поехал восвоися. Ты, Федурка, тут их не притесняй-от! ладноть?

— Ах ты картофля гниленька! ето заместо спасибо-то?!

— Спаси Бог тя, Федура...

— Бог спастеть... езжай, завтра снову встренемси...

Мужик и бабенка троекратно расцеловались, и мужичий дух пота и давно не стиранных онуч исчез, улетел старым голубем за скрипучую дверь.

Федура встала с лавки, нашла слепыми пальцами на узком, устланном серой ватой подоконнике, и верно, огарочек; и рядом с ним сломанный коробок спичек, оклеенный синей жесткой бумагой; грубой толстой спичкой чиркнула раз, другой по коробку, огонь возжегся, свечной фитиль сначала затлел, потом счастливо, ярко вспыхнул, и огонь полетел из-под Федуриных пальцев вбок и ввысь.

Изба озарилась, тени стали пугающе, дико ходить по углам, над печкой осветилась и закачалась кружевная паутина, Надины глаза расширились и засверкали, как два отглаженных резцом ювелира черных агата, в бороде вождя вспыхивали золотые нити, по стене, по выпуклостям черных бревен, пробежал крупный черный таракан, медленно пошевеливая длинными страшными усами, Наде стало страшно и весело, будто сейчас кто-то в этом мраке, целуемом бродячим и бешеным светом, расскажет им страшную сказку — о красавице и косматом чудище, о горьких, полынных слезах чудовища, что на горе себе полюбило светлую царевну. А может, я им такую сказку сама расскажу? вот сейчас, вот прямо сейчас и расскажу!

Она стала опять ребенком. Время отмоталось назад, потом застыло ледяным веретеном. Пряжа годов тоже замерзла, ледяной ее ком отсверкивал густой, иглистой щеткой инея.

— Ты, дохтур, прилягнешь? я табе свою шубешку подо спинку подложу.

Ленин еле сидел, качался. Опьянел от зеленых пустых шей.

Пока дурочка ходила за своею шубой, Надя опять взяла руку вождя.

И опять потекло тепло, единственное оправдание ее маленькой жизни на такой большой и великой, где-то в водоемах тьмы весело катящейся земле.

Шубенка, обтерханная и косматая, была принесена, расстелена на лавке наподобие раскатанного желтого теста, Ленин лег на лавку, Надя стащила с него теплые боты и прикрыла ему ноги в теплых носках мохнатой бараньей поллой, а бабенка села на пол у ног Нади, и тут Надя, при неверном, мечущемся красно-желтом пламени огарка, хорошенько рассмотрела ее. Сквозь дыры исподней сорочки светилось худое тело, виднелись обвислые, как козье вымя, груди. Мелькал тяжелый, крупный медный крест — такие нательные кресты носили или дородные купцы, или лесные разбойники. Простоволосая, и щеки ввалились, и сухая кожа обтянула скулы, и при повороте головы, в безумном ночном свете, то могильный бледный, серебряный череп глядел из тьмы, то молодой и озорной лик лихо, как мужик, хватившей домашнего вина целый стакан, только что оттанцевавшей на деревенской гулянке «барыню», бойкой и румяной девки. Отчего она спятила? И когда, теперь или года назад? И спятила ли? Может, безумец, безумка умнее нас всех?

Она не помнила, не понимала, кто первый начал беседу. Вроде бы никто и беседовать не собирался; у всех слипались глаза, все хотели спать. Надя даже забыла, что они совершили побег из усадьбы, и что за ними может быть снаряжена погоня, и что их найдут и накажут; ее глаза безотрывно смотрели на колеблющееся в избыном мраке рыжее свечное пламя, и пламя это лизало ее тоску и слизывало ее, оно прогоняло

любую тревогу, и прошлую и будущую, любую боль; рука и рука, крепко сжать, нежно переплести пальцы, и быть спокойной и счастливой, и знать, что тот, другой, рядом, счастлив и свободен, вот что главное. И пламя, это пламя. Как хорошо при свече! Никакая электрическая лампа со свечой не сравнится. С ее живой тревогой и живым, если ладонью коснуться, ожогом. Свеча, живой огонь. Никогда не умрет.

Вождь видел и слышал, и Надя тоже слышала и видела, и если бы ее спросили: повтори! — она бы сейчас повторила все, до слова; но слова улетали, и исчезали, и прилетали снова, как огненные птицы, и счастье тоже улетало вместе с ними, а взамен являлось мучение, его никто не просил приходить, но оно уже было тут, оно трясло и мотало за плечи, оно запускало крючья пальцев под ребра и искало сердце, и находило, и крепко сжимало, — и сердце это снова была живая рука, и сердце — рука другая, и на самом деле они переплели, прижали друг к дружке не ладони, а бьющиеся сердца, а голос рядом, снизу, с разошедшего, прогнувшегося пола, все доносился, то разгорался, то гас, то вспыхивал опять, и пламя бедного огарка разрасталось неимоверно и все заполняло собой, а потом опять сжималось до размеров золотого обручального кольца на безымянном пальце Нади, а она и забыла про то, что у нее есть муж, забыла про усадьбу и работу, забыла про Москву и сына, забыла про мир, а раньше мир писали вот так, через букву і и с твердым знаком: МІРЪ, она сама именно так его еще так недавно в гимназических тетрадках скрипучим пером выводила, — и та, что была одною из нищих дочерей этого огромного яростного Міра, сидела перед ними на холодном полу, в виду громадной теплой русской печи, и всю собой, не только голосом и хрипом, изъясняла им всю свою жизнь.

* * *

Ты... крестьянка?

А кто ж? А то ж! Ясно дело, христьянка! Верую во Христа-Бога! А вы тут явились, не запылились, не спросились, жалаем ли мы вас али нет, да заслонили нам весь свет!

Да ведь рево...лю-ция... тебе же все... дала?

Дала, дала! Как бы не так! Все дала, эх куды ты загнул-от, дохтур! Не дала, дрянь она така, а отняла! Все тута красны знамены на палки вздели. С ими по улицам понесли. И зачали все стреляти! Стреляли, стреляли... добро бы в животину, хоша и яе жаль тожа, животину... а прямо в людев стреляли, им во лбы, в потроха... в сердца! Што, ну што дала мене революцья твоя?! Слезы, слезыньки мои, вот што! Слезами я всю земличку умыла. И земличка солена вся стала, вот как я, грешна душа, ревела ревмя... У мяня тожа была семья! Семь я, одно слово, семеро нас всех было. Семеро, слышь! Вся моя семья выбита. Вся — выжжена, ровно же как пустырь! А за пустырем — лес да монастырь... и тама отпоють нас всех, вскорости, вить скоро мы все помрем... да, да, и ты, дохтурчик, соколик, не надейси, што вечно жити будешь! Што тако в самделе ета сама твоя революцья, я на своей шкурке узнала! Весь еенный ужас спознала! Не-е-ет, теперича мене никто не омманеть, што слобода, што земля народу, и как ето тама все орали-то, как?.. мир людям, да, сплошной мир людям, войны не будеть никакой боле, и всем, кто голодуеть, всем и каждому — корка хлеба! Хлеба кус голодному, ты слышишь!.. Навроде б то все верно. Золотые навроде слова! А што тако слова, не-е-ет, я хорошо узнала! Слова, ето мусор площадной. Слова, ето слюни, когда плюются и чертыхаются! Нет! Хужей! Все слова, што нам новы люди, кто зачал нову власть, с высот кричали-вопили, все — ложью оказались! Мужа мово, христьянина, стрельнули, а он пахать на поле шел, лошадь гнал, лошадушку нашу... в телеге плуг вез... так и его стрельнули, и лошадку застрелили, а кто?! я тому сама хотела зенки выцарапати! Он ране

у нас в дядевне — урядником служил! Да какво стрельнул! В спину! Муж шел за телегой, а красный етот пес подкралси — и из винтовки меж лопаток мужу моему лупанул! А я-то стояла у межи и все видала. Увидала и в межу упала. Вся землю попачкаласи. Рожей прямо в грязь! И землю кусаю, ем! И рветь мене, вырывает из мене все нутренности мои! А муж мой родный лежить, навзничь свалилси. Лицом в небеса глядять. А етот, красный сучонок, подбредает к лошадке нашей... и ей в ухо стрелять... Я встала на коленки, воплю ему с межи: зачем?! зачем?! А он мене в грязну рожу глядять нахально и так язычишкой частить, и ржет-смеетси: ты, мол, контра церковна, и мужнишка твой контра, при церкви всю жизнь моталиси, то ты милостынку клянчила, то мужнишка твой с попишкой денежку делили! А муж мой... был до революции вашей говняной церковным старостой... и да, икон тута у нас в избе было множество, а иконостас каков... видали бы вы... золото аж на пол текло, воском с окладов капало... стариннай, ешшо старOVERСКОЙ...

Бо-женьки ника-ко-го нет...

А-хах! ты, дохтур, што, всуерьез так считаешь?!.. нет... не-е-е-ет, есь... Есь Бог! Есь! И ныне, и присно, и веки веков, амень! И никто Ево с Ево небеснаго трона не скинет! Не расстрелять... Ето мы все тута, дурнопятые, можем бицца-стреляцца... а Он — надо смертью летить... И Он, Он видал, как моя дочушка малая, моя сама младшенька, от голоду — сгубала... вот тута, да, тута, на етой самой лавчонке... на какой ты шас валяешься, дохтуришка... А мои два старших сына — сами сабе убили. Ну да! да! один краснай, другой за царя, вот и вся тебе красна заря! Повздорили крепко. Гневливо друг на дружечку орали. Глотки — надорвали... А посла один со стены охотниччо ружжо отцово как сорветь... а другой — из кобуры — наган выхватывать... И прямо тут, в избе, друг в друженьку нацелилси... и — жажнули... Я скотине корму в те поры задавала. Слыхаю из избы грохот. Бегу со всех ног! Дверь пред собой пихаю... и вваливаюси... и вижу... оба — в лужах красных — лежать... и кровушка-ти из-под их течеть, течеть... под ноженьки мене, под мои, все в навозе, сапоги... Я — ну растаскивати их, оживить пыталаси, перевязати ранушки, по щекам била, целовала... Господи Божечка, как же я их целовала!.. Будьто поцелушками теми можно было воскресити их, бедненьких моих... И што?! Што зыришь-то, будьто я вранье тута балакаю?! Правду я говорю! Чисту правду! Таку чисту, што ангелы на небеси плачуть, глядя на такую Божью чистоту... Видал ты мать, у коей сыны в яе родной избе сами кончили друг друга?! Нет?! Так вот — гляди! Ето я и есь!

Тихо... тихо...

Што ты мяня останавливашь?! Што жалаю, то и калякаю! А сестра моя, единокровна сестренушка, игде она, спросишь?! А и нетути яе! Под пытки взяли яе в Чеку твою! Под ножи легла, под кипяток! Пытали яе, допытывалиси, игде у нас тут, в избенке, золотишко хранитси... в подполе, али в саде зарыто... али на сеновале, в сене заховано... Все перевернули, все штыками истыкали... не нашли — сестреночку забрали... А я тогда на рынок укатила — кольцо мое обручально с руки торговати; и не уследила, захапали яе, милашечку... Прихожу, мене соседушки вопять: беги да беги в Чеку, Федурка, там сеструху твою пытаются, так кричить, болезна, што за озером слыхат! Я понесласи. Землички под собой не чуяла... Подбегаю к Чеке етой проклятой, и верно, слышу такой истошной крик, што душенька моя из груди сама вся вынаетси... Волки, кричу, на крыльцо взбегаю, в дверь пятками, кулаками колочу, волки вы хищны, дики, не люди вы!.. бросьте, киньте пыгати сестреночку мою!.. Дверь не отворили мене. Я так весь белый день там на крыльце и проваляласи... И лишь ввечеру... ввечеру дверь затрещала, и предо мной кинули тело... тельце сестренки моя, вместе с ей, миленькой, мы грудь нашей матки сосали... я ей рубашонки на локотках штопала... в лапу в саде играли...

В... лап... ту?

А иди ты, дохтур, в криво дышло! Я сестреночку мою под плечики подцепила... и так яе по улице широкой поволокла... а пяточки яе по земле волоклися... и все камнями изранилися, мертвые пяточки... А я все плакала, так уж плакала, не унять жгучих слезынок было, и все повторяла: потерпи, потерпи на мене, сестренушка, больно тебе, верю, больненько, да скоро в избу придем, тама уж я тебе обмою, обряжу... И до-ташила! И обмыла всю, и грудку и животик! От крови отмыла! И обрядила! Как на праздник двенадесятый! Што глядишь круглыми зенками?! Што моргашь?! На лавке вот самой етой лежала она, а я на яе и монисто нарядно нацепила, на шейку ей лебедину надела. Лежить. Ровно спить. Солнце в окно вдарило — монисто как все играти зачало! Оно старо монисто было, ешшо маткино. Деньга серебряна, золота, меж монетов редки яхонты да речны перлы вшиты. А матка моя, спросишь, игде?! Да догадайси сам, коли догадливай!

Не-до-га... да...

А ты, а ты догадайси! Выметнулись из дярвни красны... явилиси белы. Белы поцарили чуток, убегли; снову явилиси красны. И, когда красны вдругорядь явилиси, они к нам на двор пошто-то к первеньким заявилиси. Ну а как жа, мы жа у самой околицы. Дале только лес, поля... все зимня земля... И то, осень тогды стояла, поздняя осень, заморозки уж землю подковали, и снега тверды, крупитчаты посыпалися из туч. Они, красны, всходят на крыльцо. А матка моя стара, как назло, все на печи лежала-лежала, а тута с печи слезла да на двор из избы выкатилася — сучке нашей корку в миску кинути. Вот стоит матка с етою коркой в руке на крыльце... а тута конны подмахивают к воротам... а ворот-то уж и нет, ночью сорвали... и въезжают на двор прямехонько... и кто впереду у их на коне ихал, вынимать из чехла пистоль — и сперва сучку нашу стрелил, а пося — матку... Я в избе стряпала, у печи стояла; только визг собачий и услыхала. Выбегаю — а обе лежать... обе... Я воплю: маточка моя! старенька моя! на кого ж ты мяня бросила! в етом мире снежном, в етом мире лютном! Он, красный-то, собаке в бок попал, под ребра... а маточку мою — аккурат в лоб застрелил... Я уж себя пося тешила: если в лоб, промеж глаз, так и не мучилася она, стало быть, особо долгонько... можа, и вовсе не мучилася... и даже не сознала, што с ей тако люди вытворили...

Люди... люди...

Да! Люди! Люди, гады! Люди, черти! Люди, хуже чертей! Черти в аду — грешников за грехи наказывают; а люди людей тута, на земле, за што?! И кто все ето содеят с нами?! Кто — сотворил?! Ага! Знаю теперича, кто! Все знаю! не отвертесси! Ленин — вот кто! Ленин, гаденьш, приبلуда! Царем захотел на земле стать! Да только царь-то ить от Господа Бога, а Ленин от сатаны! Ох, встреться он мене на дороженьке моей, своими бы руками, да, да, вот етими, што землю век нюхали, на земле работали, задушила бы плюгавчика!

* * *

Надя выпрямилась и застыла. Ее глаза продолжали глядеть на бабу, сидящую на выскобленном дожелта полу, и не видели ничего. Она вся перелилась в свой слух, и только слышала, и ужасалась, и молчала.

Она дрожала. Все крепче сжимала руку вождя.

Дурочка подняла перед своим искривленным болью лицом два кулака, потрясла ими. В ночи, прорезанной языками бедного огня, грозила сильному, неведомому.

— Дрянь така, на царей руку поднял. Гореть яму в геенне огненной!

Надя, дрожа, медленно перевела невидящий взгляд с дурочки на вождя.

Он почуял, поймал ее взгляд.

Его глаза бегали туда-сюда, будто он что-то тут такое драгоценное потерял в этой голой страшной избе, и ищет взором, и не может найти, и руки его не шевелятся, и ноги не идут, и он опять беспомощно смотрит на Надю: помоги! отыщи, обнаружь!

Он поднял левую руку и прижал к уху. Надя поняла: он хотел заткнуть уши, не желал больше слышать этой кровавой, лютой исповеди.

— Ленин далеко. Он... важный начальник. — Она старалась говорить на дурочкином языке, чтобы ей было понятно. — До него... не доберешься. А многие, знаете, любят его. И уважают его.

— За што тако яво, змеючину такую, уважають?!

— Он, — Надя глотала, а слюна исчезла, рот пересох, — указал нам всем, всему народу... путь к лучшей жизни... к счастью...

— Ко щастью! — люто передразнила речь Нади дурочка. — К какому такому щастью?! Игде оно?! Укажи мене, игде! И я туды — сломя башку помчуси! Не-е-е-ет! вместо щастья — кровушки нам вдосталь дал напицца! вот и щастье оно тута все! Ищи яво свищи!

— Он всей земле, — Надя думала: вот сейчас наклонится дурочка, во мраке за печью пошарит, и вынет под сполохи ночного пламени топор, и над ними занесет, она ловкая, она ухватистая крестьянка, рубить-колоть умеет, а что ей терять, у нее же всех убили, вот теперь и она сама убьет, убьет и не охнет, а они, как они смогут сопротивляться? да никак! только глаза растарашат! последнего взора последним огнем на лезвие топора уставятся! и ничего не смогут сделать за один миг! Смерть — это же миг, и только! Ничего не успеешь ни сделать, ни подумать! — ...всей земле... всей... свет показал!

Дурочка выпучила на Надю глаза. Волосы мотались у нее вдоль щек выюжными прядями.

— Какой такой ешшо свет? Свет! Эка удумала! На ходу, девка, подметки рвешь! Это и я тебе свет могу показать! Вон! — Она тряхнула белыми волосами и насмешливо указала пальцем на бьющийся в брюхе печи огонь. — Рази ж то не свет? Ешшо какой свет! И светить! И греть! Сказки все ето, про свет! Но клюнули людишки... клюнули на сказку дедкину... и пошли! Побрели... За етим вшивым кобелем побрели! За омманщиком!

— Вы его не знаете, — заледенелыми губами вымолвила Надя, — зачем так говорите?

— Задушила бы все одно!

Дурочка сказала это твердо, непреложно.

Ленин мертво смотрел в затянутый паутиной потолок.

С матицы упал на пол клочок пыли и под дуновением тепла из печи пополз по полу, как мышь.

— А где у вас вся обстановка? столы, стулья? горшки?

Надя спросила так, чтобы перебить страшную речь, голос, хрипящий о невозвратном.

Дурочка огляделась. Она напонила сейчас Наде крыску, что выползла из дыры в подполе и озирается в безлюдной избе: ни хозяев, ни запасов, пыль и запустение, и чудом выживший после огненного лета, печальный сверчок на стене.

— Все посажгли.

— Кто?

— А красны и посажгли. В печке. Все мебели посажгли. И все сундуки. И всю одежду, што от бабок моих мене осталаси в придано. И все наследны иконы. А горшки поразбили все. Веселилися так. Выходили на двор и швыряли горшки глиняны об камень. А чугуны в колодце утопили. Етот, — кивнула на пасть печи, — со щами што, соседушка милости ради дала.

Надя слушала голос дурочки и глядела на Ильича.

Дурочка изловила ее взгляд, как ловят в воздухе шальную стрекозу.

— А ты што ето на няво так зришь?! а?.. Так глядишь, дочка, будьто любишь яво, как... не человека, не-е-е-ет!.. как больнова кобеля... Ты так-то яво не люби! Не люби так! Он жа тебе кто? тятя? вот и люби яво, как тятюку, а не как блуднова пса. Вылечицца он! Вылечицца! Не страдай! А не вылечицца — похоронишь! Вон, как я своих всех схоронила! И ничаво! Живу, хлеб жую! Да и хлеб-то шас не жую! Забыли зубки хлебушек! Крапиву, лебеду — помнять! Знають! Да брось ты трястиси, как в лихоманке! Мерзло? так подтоплю! Дрова есь, вон на дворе последний шкапенек разломатый! Ты на печи лягай, а я — на полу умошуси! мене на дощечках привычней! а ты гостьюшка, тебе тепленько штобы надоть!

Надя вздрогнула, повела плечами. Она, и верно, замерзла.

— Давайте лучше я на полу. Мне не холодно.

— Да как жа не холодно, когда у тебе зуб на зуб не попадать!

Бабенка, топоча по половицам босьми пятками, выбежала и быстро вернулась в избу с охапкой дров в руках. Да и не настоящие дрова это были, а и правда растерзанный, расколотый на доски и дощечки старый шкаф. Присела на корточки у печи, откинула чугунную дверцу; на дверце, Надя разглядела, была выкована античная квадрига, и богиня в колеснице стояла гордо, вздергивая кнут над спинами лошадей.

Дурочка напихала дров в печь, шваркнула спичкой, огонь занялся быстро — шкапные доски сухие были, в укрытии лежали, от дождей упаслись.

Пламя из печи наново озарило избу — и вовремя: огарок догорел, медленно потухал и наконец потух. Запахло воском, мылом и горелым свиным салом. Ленин, лежа на лавке, закрыл глаза. Потеплело, и сильнее запахло сырой овечьей шерстью. Надя подняла с пола пальто вождя и укрыла его.

Дурочка шурилась. Ладонью отбросила волосы со лба.

— А сама по полу-ти на чем лягешь? А, у тя пальто тожа есь...

— Да. Есть. Сейчас печка растопится, прогорит, и станет тепло.

— Без тя знаю.

— Простите, если что не так.

— Бог простить. — Подумала немного. Брови свела в ниточку. — Бог-то простить, Он всех прощевать, а люди-то Яво простять али нет, за то, што Он со всеми нами исделал?

Обратилась лицом к печи. Перекрестилась на печь.

— Ека, ека я лукавлю! Да кто жа ето Господа поносить-то! я, я поношу! наказания мене нету страшнаго! Господи! — Упала перед печью на колени. — Накажи жа Ты сам мяня! У жгут мокрой скрути! И выжми, выжми! Штобы с мяня кровушка наземь капала! Штобы я сама-самесенька сполна все муки приняла, каки Ты послал, любезнай, всей семьишке моя!

Огонь горел, дрова трещали.

Дурочка вынесла из угла старую одежду, кинула перед Надей.

Надя расстелила на полу чужой зипун. Рукава разбросались по половицам. Зипун лежал перед нею внизу, как живой. Как чье-то выжатое, как тряпка, и распятое тело. Нет; как кожа, с кого-то живьем содранная, с мученика нового.

Он весь в пятнах крови. Воротник, рукава. Подол. Подкладка. В него она, дурочка, завернула свою убитую мать!

— Што головой-га трясешь, как бешена индюшка?.. ну тиха, тиха... успокойси... не надоть так... не надоть...

Она с трудом уловила, осознала, что дурочка обняла ее за плечи и судорожно гладит шершавой ладонью по растрепанной голове.

Смоляные волосы Нади давно вылезли из гладкой утренней прически, развились по спине.

— На-ка табе гребешок... вошек вычеси...

Дурочка совала ей в руку железный лошадиный гребень.

— У меня нет никаких вошек.

— Не сердчай, ето я для посмеху молвила. Утресь причешесси... а то растрепа, не хужей мене...

Огонь, рвущийся из печи, освещал мокрые щеки Нади, ее блестящие глаза, неподвижное лицо Ильича, лежащего на лавке неподвижно, с закрытыми глазами.

— А он што?.. можа, помер уж?..

— Нет. Видите, дышит.

— Так он жа табе не отец!

Вещий вскрик дурочки хлестнул ее по лицу.

— Отец, — твердо, жестко сказала Надя.

Она отвернулась от Федуры. Быстро легла на расстеленный на полу, весь в засохшей крови, мертвый зипун.

Свернулась в клубок, как собака в морозы.

Она еще слышала, как возится и кричит дурочка, с трудом залезая на печь. Ее голове обняли горячие мысли, обвилась вокруг ее лба, затылка и подождли ее волосы, и она лежала в этом огненном венце, не в силах сорвать его, не в силах смириться со странной, как эта пустая изба при дороге, неожиданной участью своею.

* * *

А почему эта несчастная бабенка дурочка? Она разумно рассуждает. Умная крестьянка, и так пострадала в революцию. Да в революцию все пострадали. Нет человека в России, который в революцию не пострадал.

Надя лежала, свернувшись в собачий клубок, на кровавой подстилке, у ног Ленина, рядом с лавкой, где он вытянул ноги, и впрямь как покойник; а она лежала у его ног и впрямь как собака, верная собака, свистни, и подбежит, и запрыгает, и оближет, и рядом побежит — на охоту, на прогулку и на смерть. Да, на смерть она тоже с ним пойдет! Мысли горели вокруг головы, и пламя заползло внутрь, под железный череп. Как холодно! Будто на дворе не осень, еще лиственная, ковровая, вчера еще золотая, а железный, в кандалах льда, каторжник-декабрь. Или лютый, расстрельный комиссар-февраль. С плетями поземок и ремнями ветров, навек валящими путника с ног. А они что, путники? Да. Путники. Надолго ли? Они не путники, а беглецы. Они сбежали. Дрова в дурочкиной печи догорают. Надо бы еще подложить, да она уж спит на печи, храпит. А может, она для нас в печи последний шкаф сожгла! для дорогих гостей!

Плохо топлена этой ночью печь. Дров мало. Дров нет. Самим им лечь в ту печь вместо дров? Иосиф говорил ей про Крым восемнадцатого года. Про киевскую Чрезвычайку девятнадцатого года. Про зверства в Тифлисе в году двадцатом. Вся кровь лилась вчера? Льется и сегодня. Все черепа разбивались кувалдами вчера? А нынче что, наступило все-таки оно, царство справедливости? И все благостно целуются на улицах, как в Пасху, а Пасхи нет, и Бога нет? Холодно. Холодно! Печь пустой, ледяной воздух не прогрела. Ее сердце не прогрело время, жалко бьется меж ребрами, хочет выпрыгнуть наружу. Ее сердце не вырезали из грудной клетки, ее мозг не вытек на камни мостовой из разбитой головы. Она жива. А могла из Царицына не вернуться. Ее не нашла казачья пуля, и топор ее не зарубил. Она не дрова. Нет, она не дрова! И ею нельзя растопить печь! А им — разве можно?

Им, великим Ильичом?

Она перевернулась на спину, выгнула спину, закинула руки за голову, потянулась так сладко и беспечно, будто лежала не на ледяном полу в нишей избе, а на нежной травке на берегу летней Пахры. Летом она сопровождала Ильича в купальню. К началу августа он уже мог медленно ходить, подволакивая правую ногу, и даже улыбаться левым углом рта. Крупская водила его купаться. Когда-то, по словам его жены, он был отличным пловцом. Мог даже Волгу переплыть. Может, это вранье, легенды. Вождь пролетариата должен быть сильным и смелым. Отдых! Побег — это не отдых. Это быть все время настороже. Везде опасность. Надо срываться с места как можно скорее. Убегать отсюда. От этой бедной дурочки Федурочки.

Она глядела на блестящую, озаренную печным огнем лысину. Какой огромный череп. Какой огромный мозг. Он вмещает все: прошлое, будущее, кровь, ужас, великую волю.

Да что это за холод, что, на дворе уже снег пошел, что ли?! Не согреться. Не унять дрожь. Хоть руки в печку суй и там, над огнем, грей! Да что там: грей внутри огня. Огонь твою плоть сожжет! И пускай. Лишь бы душу не спалил.

Она подползла ближе к лавке. Ленин лежал тихо, не сопел, не хрипел. Дышал ровно и спокойно. Свободно. Может, он уже свободен? А в оковах только она? В оковах вины. В кандалах ее преступления. Где они? Может, они вернулись в прошлое, и они оба крестьяне, и завтра утром рано вставать, задать корму скотине, погрузить плуг на подводу и отправиться на пашню, ведь надо успеть с осенней вспашкой до первых холодов, до заморозков. Если земля замерзнет, ее уже не вспашешь. Пашут только по живому; по теплomu, по горячему. По кровавому.

Она вздела руку, нашла на лавке его руку и опять, как все это время, когда они убежали из усадьбы, и бежали, и шли пешком, и ехали, и пребывали в чужой избе, взяла его руку в свою. Она это шептала, или это шептала дурочка с печи, бредила во сне, или это шептал резкий холодный ветер за окном, он гнул голые деревья и шуршал палой листвою по твердой, как огромный черный череп под седыми волосами старых трав, тревожной тоскливой земле?

— Отец... отец, слышите... Владимир Ильич... Новый год мы с вами встретим на юге... Я увезу вас на Кавказ... в Тифлис... там — счастье... там тепло, гранаты, мандарины... Там вам полегчает... Слышите, мы доберемся до Тифлиса... Юг пригреет нас... вам не нужна больше ваша страна... она... она вас измучила... она вам — голову кувалдой разбила... но я голову вам склею, подлечу... вы будете опять думать, говорить, писать... вы — воскреснете... я воскрешу вас... воскрешу...

Она сама не знала, что бормотала.

— И если вас убьют... расстреляют!.. зарежут, повесят, разрубят на кусочки... я по кусочкам вас всего склею... соединю... вдуну жизнь в вас... воскрешу... Вы это знаете, я... воскрешу... поэтому смерти не бойтесь... а что ее бояться... она же просто тьфу... гниль... а вы умрете и воскреснете... я — воскрешу... я одна...

Из руки в руку перетекал счастливый ток великого тепла.

Надя держала Ильича за руку, пока у нее рука не затекла.

Но она все не отнимала своей руки, все сжимала руку вождя в своей руке.

Руки склеились намертво, и Надя молча смеялась: по ее руке, от кисти до плеча, бежали щекотные мурашки, и рука немела и уже ничего не чувствовала, зато сердце начинало чувствовать все больше и больше — и ночь за окном, и близкий страшный, стеной идущий красный снег, и красную зарю в полнеба, от нее не ускакать ни на коне, ни отъехать на свежем новейшем моторе, и сумасшедший гнев Иосифа, и круглые потрясенные глаза Крупской, и людское море голов в зале суда, и холод царицынского револьвера в руке, и цвиканье и свиристенье последних, перелетных птиц, и черную

нищую, без зерен, пашню, и сухую траву, крутимую сиротским ветром, и всю эту землю, у которой было имя, и вот имя отняли и обозвали по-другому, а она днем закрывает себе старый безумный лик красным знаменем и кричит из-под алой ткани: меня теперь вот как зовут! не перепутай, народ! — а ночами сдирает с себя кусок красной тряпки, и хохочет, и скалится, и слезы стекают из ее слепых от боли глаз в ее беззубый, дурочки деревенской, голодный рот. И хохочет, и пьяно шепчет она: ты, народ, не слушай никого из этих твоих владык и вождя не слушай, они все постояльцы, они пришли и уйдут, а я, я останусь. И имя мое...

Ночь сама разорвала их руки. Надина омертвевшая рука упала рядом с нею самой на штапель испятанной чужой кровью подкладки зипуна. Ее собственное пальто убитой безголовой, безрукой и безногой девчонкой валялось рядом. Надя уже спала. Она сжимала руку вождя до последнего мига, когда еще думала и ощущала. Потом сон укрыл ее от маковки до пят, и во сне она так и не вспомнила настоящее имя своей родной земли.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Уже под утро вождь открыл глаза.

В подслеповатое, косое окно лилось кислое молоко осеннего рассвета.

Его пальто ночью сползло с его тела и завалилось под лавку.

Лежал в расстегнутом пиджаке, грудь под душегреей медленно подымалась.

Он заговорил.

Это было так в первый раз, что он вдохнул воздух и стал выдыхать его словами и говорил так долго, с трудом, запинаясь, то громко, то тихо бормоча, косноязычно, но разобрать можно, — после того, как его полгода назад разбил весенний удар.

Надя проснулась немедленно. Ее зрачки слепо двигались внутри молочной полутьмы. Потом глаза привыкли к сумраку, и она стала слышать голос. Привстала на полу. Сидела, рукой опершись о половицу. Потом встала, подняла с пола свое пальто, накрыла им Ильича, подоткнула рукава ему под бока, чтобы теплее было ему, села на пол, как дурочка этой ночью, — и слушала.

Лохматая пола старой дурочкиной шубешки свисала с лавки до полу.

Левая рука Ленина, его живые пальцы возили по кольцам овечьей шерсти, щипали и дергали белые кудрявые пряди.

— Ост-ров... видел во сне остров... Холод-ное мо-ре... холодно... волны... Берег... на бе-ре-гу стоят... лю-ди... лю... ди!.. в одном белье... и все бо-ро-датые... все... священники... а может, и не только... один боро-датый кричит... поги-бать бу-дем, братие!.. погибать... молитву читай... а у них руки свя-заны... один кри... кричит... креститесь мысленно!.. мыс... ленно... ах...

Он втянул в себя воздух и захлебнулся. И закашлялся.

Надя вытерла ему губы и усы не платком — голою рукой.

Он смотрел в потолок. Потом закрыл глаза.

— Вот вам... ваш Бог!.. Ваш... вот Он! Вы... мелкие бу-кашки... лю-дишки... лю-буйтесь на Него!.. Что?!.. Что?!.. — Руки и ноги его стали дергаться. — Не видите Его?! Врете!.. ви-ди-те!.. Каков Он! Ваш Боженка!.. Хорош!.. Не спас вас! Нет!.. не спас!.. не... спас... хоть вы и про-си-ли... Про-сить... надо лучше... горячее... к стопам — при-падать...

Он подтянул к лицу левую руку. Пытался схватить себя за бороденку.

— Где же ваша... ваша!.. ман-на небес-ная?! а? где? где?!.. где...

На печи завозилась дурочка.

— Владимир Ильич... хозяйку разбудили... рано еще очень... спите...

У больного из-под усов, из криво раскрытого, гневного рта слова рвались, трещали, как раздираемое надвое полотнище.

— Где?! где... где... Нету ни-ка-кой манны небесной! Нет никакого Бо-жень-ки!.. нет и не было!.. и не будет ни-ког-да!.. слышите!.. ни-ког-да...

Она решила соглашаться с ним во всем.

— Да, да... никогда...

Он дергал головой. Из угла его рта текла по бороде слюна.

— Ага!.. вы-ку-си-те!.. вас сейчас рас-стреля... ют... и — делу конец... конец вам всем!.. Конец тебе, ста... старый мир! Хватит тебя лелеять!.. довольно!.. довольно ты... поцар...

— Тихо, тихо...

— Поцар-ство... вал... теперь — мы...

— Да, да, мы...

Надя поцеловала его мокрый, опять горячий лоб.

— Мо-ре... холодное!.. да рас-стрелять их всех... никчемных попишек... и — утопить... пить... пить... пусть как бревна... пла-вают...

— Да... плавают...

И тут произошло неожиданное. Ленин повернул голову и, глядя мимо Нади, на угол плохо и давно беленной печи, хрипло выдавил:

— Хочу... пока-яться...

Надя сначала не поняла ничего.

— Что, что хотите? — Покосилась на печь. — Отец...

Он, не поворачивая голову, прижимаясь щекой к лохматому меху шубешки, скосил на Надю глаза. Она изумилась ясности и горечи взгляда. А еще тому, что глаза Ленина стали гораздо меньше, чем обычно, странно маленькими, крошечными стали: будто вкатились под огромный лоб, глубоко внутрь огромного черепа ушли.

— Покаяться, — связано и быстро, как до удара, выдохнул он.

— Покаяться? В чем?

Но она уже хорошо поняла, в чем дело.

Какое чувство мучит его.

Левая рука вождя жестоко, желая вырвать ее из мездры с корнем, щипала овечью шерсть.

— В том, что я... сде-лал.

— А что вы сделали... отец?

Ленин силился встать. Оторвать голову от лавки.

Но Надя не помогала ему это сделать.

Она во все глаза глядела на него. Ему в лицо.

— Я... вино-ват... виноват!.. я все перевернул... но это я...

Она не шевелилась.

— Отом... отом... отомс... — выговорил наконец. — Ото-мс-тил!

— Кому? — беззвучно спросили Надины губы.

— Думаете... царю?.. за то, что... брата... пове-сил?.. нет... — Он протянул это «нет», как давеча тянула дурочка. — Не-е-е-ет... нет-нет... царь... это вче-рашний день... тьфу на него... он, по сути... безвреден был... мы его убили... просто для... остратки... нет... месть — не ему... а...

Резко, шумно втянул ноздрями душный, кислый воздух избы.

— На... На...

Он повторял это так, будто что-то такое Наде протягивал, конфету, шоколадку, ее полакомить, побаловать, — но она уже угадала слово, и колючий дикий мороз процарапал когтями ее бедную, под всеми английскими шерстями потную спину.

— На... роду...

На роду, на роду написано, успокаивала, утешала себя она, это просто он хотел сказать, что ему это деяние, революция, на роду было написано, и вот он его осуществил, произвел на свет, смастерил, — но ложь самой себе моталась на утреннем заоконном ветру слабой и жалкой, этой лжи она не верила сама, она прекрасно все поняла: он хотел сказать и сказал — народу.

И словно нарочно, чтобы она лучше поняла, единственно и непреложно, повторил:

— Народу!.. на-ро-ду...

— За что же? — неслышно спросила она.

И то, что он сказал в ответ, она не ожидала услышать.

— За то, что он... есть... просто — есть... он — ужасен... гря-зен... велик... стра-шен... мура-выи... му-ра-выи... наползут и — съедят... съе... съе...

Она не ожидала — так быстро, крепко и цепко, он, всем телом дернувшись, схватил ее живую рукой за руку.

— Съедят! и косточки схрупают! Живого места... не оставят!.. а только — мокрое...

Так крепко сжимал ее руку, что Надя заплакала.

— Или мы — его... или он — нас...

Усы топорщились. Большой рот кривился в муке.

— Лучше мы — его!

Надя с трудом заставила себя согласно наклонить голову.

И тут же вскинула ее. Один вопрос мучил ее.

И она задала его — ему.

— Так перед кем же... отец... вы хотите покаяться?

Кривой рот под рыже-седыми усами внезапно криво, дико улыбнулся. Рот смеялся над ее непониманием. Над глупостью и тупостью ее смеялся.

— А вот перед ним!.. пе-ред... на-ро-дом...

— Что, выйти на Красную площадь? перед Кремлем? на булыжную мостовую? И что? Бить себя в грудь? Упасть... — Она ужасалась себе, но все равно выговаривала это, дерзкое и дикое. — На колени? Биться лбом о булыжник? Кричать: прости меня, прости, мой народ?!

Она едва не кричала. Так ей казалось.

На самом деле она говорила тихо, но очень отчетливо.

Говорила, как сухо, четко печатала на «Ундервуде». Впечатывала слова ему прямо в мозг.

— Да я... да я — и хотел так... вот именно так...

Свободной рукой она пригладила растрепанные в ночи волосы. Шпильки выпали из пучка и закатились куда-то — под лавку, в щели меж половицами.

— Когда?..

— Дав-но... дав-но... я хотел... меня — схватили... и в усадьбу, в у-садь-бу увезли... насильно... я в усадьбу — не хотел... не... хотел...

Опять вскинулся всем телом. Встать с лавки хотел — Надя видела это.

Но она будто застыла, ледяная площадная, в веселое убитое Рождество, фигура.

— Я уже... на площадь из Кремля вышел... вы — ничего не знаете... я — вышел... я — руки раскинул... меня уз-нали... лю-ди уз-на-ли... ко мне побе-жали... ринулись... окружи-ли меня... как... как — волка... на... охоте!.. я плакал!.. пла-кал... я редко пла-чу... я — никогда не пла-чу... а тут — плакал... я!.. упал на колени... у... у... у трех до-рог!.. куда идти?!.. а черт его знает, куда!.. мы пришли!.. а вокруг — чертов этот народ!.. толпится... гогочет!.. скалится... он — больной... вы думаете, я болен?! я! он — болен! он! а больных крыс сжигают!.. а больных собак — стреляют!.. а больных душой, ду... шой... знаете, куда отправляют?!.. знаете?!.. нет?! а я — знаю!.. Я... все знаю!.. И они... догадались... ко мне — под-бе-жали... схватили... а народ — стоял... и смотрел... смотрел!..

на меня!.. как меня, вождя... волокут... насильно!.. обратно в Кремль — другие люди... люди... люди!.. Люди!.. что вы сделали — со мной!.. Мой про-клятый народ... что ты сделал — со мной!.. Чудовищно!.. это чудо-вищно... это в голове не ук-ла-ды... ва-етса... Наденька...

Она услышала свое нежное имя, и вздрогнула, и против воли быстро наклонилась, и опять поцеловала его в пылающий, громадный, как луна в ночи, лоб.

— Они меня волокут... эти... кремлевские... со-ратники... или солдаты... это одно и то же... все мы солда-ты... а народ ржет как... конь!.. пальцами на меня показыва-ет... на-род... проклять! я бы всех их там — на пло-щади — из пулемета приказал по-ко-сить!.. и я кричал: рас-стрелять!.. рас-стрелять!.. а тут врач бежит... проклятый врач... в белой ша... почке... пульс щупает мой... И вдруг... вдруг...

Весь, как большая, багром прибитая рыба, изгибался на широкой, плохо оструган-ной лавке.

— Все!.. замолча-ли...

Надина рука посинела. Ленин все сильнее сжимал пальцы левой руки. Она хотела вырвать руку — и не смогла.

— Молчат... Стоят... И мол-чат...

Птица села на карниз и клюнула стекло.

В избе стук отдался резко, громко.

Надя испугалась, что стекло треснуло.

Нет. Цело осталось.

— И вдруг один... один!.. один!.. из целой толпы!.. из все-го на-ро-да!.. крикнул: да здра... да здра...

Ему трудно было сразу целиком произнести это слово.

Но он поднатужился и все равно вытолкнул его из себя.

— Да-здрав-ству-ет Ле-нин!

— Да здравствует Ленин! — повторила за ним Надя.

Просто ничего другого она сказать сейчас не могла.

Он разжал пальцы и выпустил, как полумертвую птицу, ее затекшую руку.

На печи хранилось молчание.

Надя потрясла в воздухе бесчувственной рукой, наклонилась и подтащила вверх, к деревянной плахе лавки, упавшую на пол мохнатую полу шубенки.

* * *

Надо было срочно сменить безумные слова на умные. Поменять мысли, поменять весь разговор. По-иному направить его, в другой канал с гранитными берегами.

— Отец!.. хотите пить? Я принесу.

Ленин глядел непонимающе.

— Пить?..

— А хотите, — она быстро и ярко покраснела, щеками и шеей, — по нужде? Я по-могу. Встанем, выйдем во двор! уже рассвет...

Ленин тоскливо покосился в слепое грязное окно.

— Рассвет...

— Скоро солнце взойдет.

— Солн-це...

Он смотрел в окно, как мужики, выпившие четверть до дна, тоскливо глядят в мут-ное стекло пустой бутылки.

— Хотите?

Ей было стыдно, но тут уж ничего не поделать было.

— Нет... пока — нет...

Ей стало легче и еще стыднее.

— Ну... хорошо... позже...

И тут он, в рассветной мутной, самогонной тишине, спросил ее такое, совсем уж неожиданное, на что ответить было нельзя и не ответить тоже было нельзя.

— Наденька... а вот вы... такая мо-ло-дая, краси-вая... вы — боитесь у-ме-реть?

Она сделала вид, что не расслышала. Растерянно глянула в угол, потом на печную заслонку с богиной и квадригой, потом опять на него.

— Что, что?

— Вы бои-тесь смерти?

Что ему отвечать, думала она быстро и сердито, об этом с такими больными не говорят, они слишком рядом бродят со смертью, да разве только они, мы теперь, в революцию, слишком рядом с нею все ходим, да революция же закончилась, нет, не-е-е-ет, она не закончилась и не закончится никогда, и всегда будет страшно и опасно в стране, да и во всем мире, революция — это война, мы теперь слишком хорошо это знаем, а война — это всегда смерть, причем никто не знает, ты умираешь как герой или как подлец, а смерти, однако, все равно, кто ты такой, она всех своими граблями сгребает в один черный стог, и ни травинки из него уже не возвращается на живые поля, ни цветка, ни былинки, и что, она сейчас должна ведь что-то ему говорить, он же ждет, а она чего-то разве ждет, она уже ничего не ждет, все предопределено, ее муж хочет власти, взять власть после вождя, она это видит, стать новым вождем, да это же видит не только она, стать вождем лучше, чем прежний, — это значит крепче, жесточе, умнее, хитрее, он хочет стать гораздо сильнее Ленина, хотя все вокруг считают, сильнее Ленина быть невозможно, он же одной рукой перевернул Россию, одной или двумя, а может, и не он один, а просто так удачно сложилось, эта война, робкий царь, народный гул, течение реки рук и голов на улицах, на площадях, мир стал черным и белым, и эту фильму надо было сделать цветною, надо было залить мигающую слепую черную пленку яркой кровью, чтобы все видели, поняли: не фильма, а жизнь настоящая! и главное, смерть настоящая! а смерть всегда настоящая! это жизнь может быть фантазией, дамскими ахами, маханьем веера! карточной игрой! залитым воском подсвечником близ пюпитра фортепьяно! гудком паровоза! золотыми погонами! и вот этого ничего нет! ничего этого нет, а смерть есть! а он, он ждет смерти! и ждет, что она, беглянка, слабая глупая девчонка, не умнее дурочки этой деревенской, сейчас ему все о смерти так и выскажет, как на духу! а что надо ей сказать? что она тоже боится? что страшится и трепещет? что в постель не ложится без мыслей о смерти грядущей? а молиться нельзя, ведь Бога убили, его расстреляли, там, на холодном морском берегу, в виду угрюмых серых волн, в виду пустой баржи, где на дне железного клепаного трюма вповалку, мерзлыми дровами, лежат трупы, это людей, пока плыли, залили из шлангов ледяной водою, и они застыли, вмерзли в смертную льдину свою, и у многих рты в крике застыли, сквозь прозрачный лед видно, как навек, разевая рты и показывая в оскале зубы, люди кричат, и иереи телешом на берегу стоят, в исподнем, в исподних портках и белых, до колен, рубахах, их сейчас будут убивать, и они глядят в лицо смерти, вот их спросить надо, их, боятся ли они ее?! боятся ли?! проклинают ли?! а может, благословляют, ведь сейчас навек отмучатся они?!

— Я?.. я...

Его глаза внезапно стали большими и властными, вылезли из орбит, обезумели и стали быстро, как два пушечных ядра, падать на нее.

— Я...

Делать было нечего. Эта правда была у всех людей одна.

— Да! Боюсь.

На глаза напоззли красные вспухшие веки. Глаза перестали падать на нее. Не поранили, не взорвали ее. Он услышал эту единственную правду и, кажется, выдохнул свободно и спокойно; он был доволен и успокоен ее чистосердечным признанием.

— И я... тоже... знаете... бо-юсь. Еще как... боюсь...

— Ничего, ничего... — Нада поправляла ему воротник душегреи, расправляла на груди шерстяную жилетку. — Ничего, ничего!.. это так надо. Знаете, если бы человек не чувствовал боли, он бы... не знал, что вот ранило его... И если б он не боялся смерти, он бы... — Она сделала жалкую попытку улыбнуться. — Не стал героем! Кто идет на смерть во имя великой идеи, тоже ведь боится смерти! Однако он совершает геройский поступок! Спасает свой отряд, свой полк... спасает святыню... спасает ребенка... или... — она задыхалась и так же, как он, с трудом говорила, выковыривала слова из груди, — спасает целую страну!

— Да, да...

Теперь он во всем соглашался с ней.

— Вот вы — спасли!

Провалившиеся внутрь черепа маленькие глазки опять тускло загорелись.

— Я?.. спас?.. от чего?..

— От верной смерти!

Надо было быть жесткой и правдивой, но и солгать умело тоже надо было.

— От... смер-ти?..

— Да! От смерти! Это вы... отец... спасли нашу родину от смерти! Когда она гибла под пятой ненавистного царского режима! Это вы, вы спасли ее от полчищ Антанты! И спасли ее от гибели под пулями Белой гвардии! Если бы белые победили, нас бы с вами сейчас не было! И Союза Советских... — она сморщила лоб и оскалилась в тягелой, натужной улыбке, — Социалистических Республик... тоже бы не было! Мы все сейчас идем к новой жизни, прочь от смерти! И это сделали вы! Вы!

Ленин тихо взял ее руку, лежавшую у него на груди, на цветном узоре жилетки. Нежно, осторожно и печально пожал.

— Хватит врать, — тихо и нежно сказал он.

Ее изнутри будто облили ледяной водой.

Изнутри и снаружи.

Воду ту — из того серого ледяного, угрюмого моря — матросским ведром зачерпнули.

И она лежала на дне угрюмой баржи, рабским бревном лежала, рядом с тысячами заживо замерзающих, и вмерзала в лед, и знала: никто не расколлет лед пешней, никто не отроет, не вынет изо льда, не откопает — не вспомнит. Имя ее не вспомнит.

— Мне?.. но я не...

— Хватит врать, — с силой, внятно, как здоровый, повторил вождь, — что вы все врете, какая новая жизнь. — Дышал хрипло, в груди у него будто гольши перекатывались и шуршали. — Новая смерть — это да.

По лицу Нади потек пот.

И даже он не мог растопить лед, в который она вмерзала все крепче, все невозвратней.

— Отец... — Она пригнулась к нему. Ее дыхание отдувало ему торчащий седой волос бороды. Текущий по лицу жаркий пот превратился в слезы. — Владимир Ильич... Давайте... — Слезы у нее полились быстрее. — Вернемся...

— Нет... Не-е-е-ет!..

Улыбка, страшная, торжествующая, взошла на его синюшные губы.

— Не для этого мы с вами у-бе... гали!

— Вы... так свободы хотите?.. но ее же... — Она зажмурилась. — Нет...

— Нет?.. не-е-е-ет!.. Ах так, говорите, матушка... свободы, значит, не-е-е-ет?!.. ах, ах... какая... жа-лость... как... жал-ко...

Стояла ледяная тишина. Ни ветра. Ни скрипа. Ни вздоха.

И в этой тишине далеко, на краю света, в бледно-зеленой пахте ледяного рассвета, в нищем дурочкином дворе, раздался визг открываемых ворот, стук сапог, людской сердитый говор. Сапоги простучали по крыльцу, дверь толкнули, грубо, с грохотом, наверное, ногой, тут никогда не запиралось, люди вошли в избу и шли уже, грохоча сапогами, по сениям.

Надины глаза округлились по-совиному, остановились, не моргали. Замерзали быстро, как два осенних озера, когда вдруг ударит и затрещит диковинный мороз. Большой тоже услышал близкий стук и грохот. Понял ли он?

* * *

Надя, сидя на полу, плача, закрыла глаза рукой.

Она не хотела видеть тех, кто сейчас войдет сюда.

Люди не вошли — вбежали. Кто из них заорал первый? Но кто-то был точно первый, а за ним закричали все. Хор криков чуть не разломил надвое ветхую матицу.

Она так и сидела — с заслоненными ладонью глазами. Не двигалась.

С печи тяжело свалилась, сползла на пол дурочка. Она старым, всепонимающим, измятым постоянным страданием лицом обернулась к ворвавшимся в ее избу.

Солдат подскочил и оторвал руку Нади от ее лба.

— Ах ты! — зашелся в крике. — Какова гадина! Увела! Украла!

В избе толкались и орали, по меньшей мере, десятеро военных. Кто в буденовках, кто в фуражках с синими околышами. Люди бегали по избе, как тараканы, заглядывали во все углы.

— Пусто! Никого!

— А это кто же?! Вот старуха!

— Ах ты, старая метелка! Ты знаешь, кто это у тебя в избе — на лавке лежит?!

— Дура совсем!

— Да не дура, а все прекрасно знала! Ленина теперь каждая собака знает!

— Товарищи! Хватай вождя! Несем в машину!

— А эту... этих — под трибунал?

— А куда ж еще!

— Баб под трибунал не толкают!

— Этого мы не знаем! Узнать надо!

— Узнают за тебя!

Дурочка смотрела на солдат белыми безумными глазами, и в них, слезящихся, густо засыпанных солью и болью, светилась вся последняя мудрость земли.

— Старую дрянь — бей! пули не пожалей!

Надя не видела, как на дурочку наводят ствол винтовки, слышала только выстрел, гулко отдавшийся во всех голых углах избы.

Убили, вот и все, убили, отмучилась она, а со мной что же возьтятся? что медлят? я-то ведь тоже пули стою? или не стою? они кричат про трибунал, да ведь трибунал только на войне и только для военных? мы все тут, при вожде, выходит так, военные? нам приказали его блюсти и сторожить, а я не устерегла? я — волю его не устерегла? свободу его не устерегла? жизнь его, так выходит, не устерегла, а мне жизнь его поручили? глупо! мне поручили — записывать за ним его мысли! его драгоценные, на вес золота, мысли! меня приставили к нему — на пишмашинке печатать! его мысли перепечатывать! мысли, мысли... беречь мозг его дорогой, драгоценный, для всей страны дорогой, для мира всего...

К ней подскочили, напялили на нее пальто и шляпку; ей за спиной скрутили руки. Обмотали запястья чем-то холодным и толстым; ей показалось — корабельным канатом. Она посмотрела на лавку. Лежащего Ленина закрыли от нее колышущиеся, вздрагивающие спины солдат. Потом она увидела, как его, ухватив под плечи и под спину, взяв за ноги, подперев его со всех сторон плечами и ладонями, несут к двери и выносят вон из избы, и она подумала: так несут гроб.

Ее стали зло толкать в спину, под лопатки и в шею и в зад ударили прикладом, гнали, выгоняли отсюда. Навсегда. Она, спотыкаясь, прошла мимо убитой Федурь. Не успела рассмотреть ее мертвого морщинистого лица. Успела поймать глазами — и запомнить — лишь угольно-черный, с медными корявыми бликами по битым молотком бокам, кормилец-чугун в безмолвно орущем зеве печи.

«Мы не доели крапивные щи... не доели...»

Ее вытурили во двор. У избы стояли пять моторов. Надя видела: Ленина внесли в самый большой, вместительный мотор. Когда его укладывали на сиденье, она увидела его ноги в вязаных теплых носках, без бот; боты почтительно нес сзади молодой солдат. Хлопнула дверца, ее опять толкнули в спину, она чуть не упала.

— Шевели ногами!

— Стоп, стоп, товарищ, потише, это ведь знаешь кто?

— Не знаю и знать не хочу! Стерва, контра! Извести вождя желала!

— Это супруга...

Тишина густо, быстро смешалась с чужим шепотом и чужими аханьями и возгласами. Надя поняла: солдаты шепотом, на ухо друг другу передавали имя ее мужа.

— Садись! Живей!

Она низко нагнулась и юркнула в авто.

<...>

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Калинин нервно дергал маленькую беленькую бородку.

Бухарин смотрел поверх лбов и затылков: надменно, чуть злобно.

Каменев ерзал на стуле, иногда привскакивал, снова садился, успокаивал ладонями дрожащие колени.

Рыков обхватил руками лоб, уткнул локти в колени и так, сгорбившись, сидел.

Троцкий указательным пальцем поправлял пенсне. Иной раз пенсне весело валилось у него с носа; он ловил его, как ловят стрекозу, и снова зло водружал на нос.

Все сидели, а Сталин стоял, упиравшись побелевшими пальцами в столешницу. Красный бархат скатерти под его короткими толстыми пальцами собирался в складки.

Сталин держал речь.

Все слушали.

— Сас-таяние зда-ровья Вла-димира Иль-ича Ленина ухудшается с каждым днем. Мы все прэ-красно видим, што дэло идет к непа-правимаму. И па-этаму мы дал-жны каждую минуту быть га-товыми к...

Он выждал длинную паузу. Он тоже хотел быть оратором.

Все ждали. Никто не подал голос.

— К смэр-тельному ис-ходу!

Гробовое молчание. Все члены Политбюро молчали так, как если бы Ленин уже умер и все они уже сидели, глядя на его красный гроб, стоящий прямо здесь, на столе.

— Та-варищи! — Сталин повысил голос. — Пра-шу вы-сказаться, кто жила-ет!

Встал Калинин. Продолжал безжалостно дергать свою бедную бороденку. Троцкий слегка ударил его по локтю, и Калинин прекратил терзать бороду. Стекла его очков блеснули нестерпимо, и за стеклами не было видно, что говорили его глаза. В наступившие времена глаза и язык часто говорили разные речи.

— В связи с тем, что кончина нашего дорогого Владимира Ильича недалеко... уже на пороге... мы должны решить ряд важных вопросов! — заклекотал Калинин по-петушиному. — Кончина вождя надвигается, и перед нами всеми встает насущнейший вопрос о том, как нам, Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик, лучше всего организовать его... — он все-таки выкричал это запретное слово, — похороны!

Сидящие за столом потупились. Рассматривали золотые нитяные шарики по краям алой скатерти. Носки своих башмаков. Щели меж половиц.

— Это ужасное, поистине трагическое событие... не должно застигнуть нас врасплох! Мы будем хоронить Владимира Ильича так, как не хоронили еще ни одних царей и королей... ни одних святых! Это будут такие похороны, такие... такие могучие! такие величественные, каких мир еще не видывал никогда!

Сталин сделал покровительственный жест рукой, жест этот говорил: «Садитесь и помолчите, ваша речь была хороша, я одобряю ее».

Все опять молчали. Рыков вертел в пальцах позолоченный нитяной шарик скатерти.

В тишине загудел голос Сталина.

— Я пол-настью пад-дэрживаю па-зицию Михаила Ива-навича. Мы далжны всо при-готовить заранее. Чрэз-вычайно важно всо как следует пад-га-товить. Штобы рука-водство нашей партии нэ ака-залось в расте-рянности пэред лицом неваспал-нимай утраты. А вы знаете о том, што... — опять он выждал паузу, и опять пенсне упало с переносицы Троцкого, — вап-рос о паха-ранах Ленина вэсьма бэс-пакоит и нека-тарых наших та-варищей из пра-винции?

— Из какой конкретно провинции, Иосиф Виссарионович?! — задушенно крикнул Рыков.

Сталин даже усом не повел. Не глянул на кричавшего.

— Пра-винция у нас в Рас-сии — эта всо, што нэ Мас-ква! — Свел рыжие брови, и лицо заметно помрачнело. — Пра-винция — эта и есть Рас-сия! Глупый вап-рос! Так вот, таварищи из пра-винции гаварят, што Ленин — русский чи-лавек и должен быть па-ха-ронен как русский чи-лавек!

— А как хоронят русского человека? — спросил Каменев. В его невинном вопросе прозвучала открытая насмешка.

И Сталин усмехнулся.

— Прэжде вэсэго, русскава чи-лавэка нэ сжигают! Крэ-мация — эта нэ русский а-бычай! Никакова русскава чи-лавэка никагда нэ креми-равали! И та-варищи из пра-винции катега-рически против сжигания тела! Са-жжение па-койника абса-лютна нэ са-гласуется с исконно русским па-ниманием лубви к усопшему и прэ-кланения пэред усопшим! Более таво я вам скажу: са-жжение па-койника может па-казаться даже ас-карбительным для памяти о нем! А вы знаете, та-варищи, каво ва-абще сжигали? Нэ знаете? Ну так пака-пайтесь в сва-ей памяти! Каво уничта-жали аг-нем, чей прах развеивали па ветру?! Ну?! Правильна, Алексей Иванович, прэ-ступникав! Пригава-ренных к смэртной казни! Штобы и памяти о них нэ ас-талось! И вы ха-тите, штобы мы вот так — Ленина са-жгли?!

Он уже говорил громко, напористо. Сам возвышался над столом, будто судья, только деревянного молотка в руках не было.

Снова молчание. И опущенные головы.

— Малчание — знак са-гласия, — выдохнул Сталин. — Нека-тарые та-варищи, и срэ-ди нас есть такие, нэ будим пальцем пака-зывать, пала-гают, што са-временная нау-ка да-шла да таво, што может, с помощью бальза-миравания, на-долга са-хранить тело па-койника.

— На сколько — надолго? — взвился Троцкий. Пальцем зло прижал пенсне к переносице.

— На-долга — эта, Лев Дави-давич, на-долга. На такое врэ-мя, штобы мы все сма-гли при-выкнуть к мысли, што Ленина все-таки уже нэт срэди нас.

Троцкий вскочил. Грубо отодвинул стул и выскочил из-за стола. Подскочил к Сталину. Сталин глядел на него спокойно, чуть насмешливо. Было видно, что Сталин готов ко всему: и ко вспышкам бешенства, и к язвительным выпадам.

— Товарищ Сталин! Можете не продолжать! Я возмущен! Я понял, куда вы клоните! Эти сладкие, сиропные слова о том, что Ленин — русский человек, что его надо хоронить по-русски! Товарищи! — Троцкий обвел всех бешено горящими глазами. — Кто тут православный! Эй, кто православный тут! Молчите? Так я вам все скажу! Я, иудей, вам все скажу! По канонам Русской православной церкви усопшие святые угодники делались чем?! Мощами! Вы тут нам о науке! Об ее достижениях! Простите, но я не дурак! И мы все тут отнюдь не дураки! Вы всем нам тут советуете сделать так же, как поступала Русская православная церковь — сохранить тело Ленина! В виде нетленных мощей! Что за ужас! Нам, партии революционного марксизма! Идущим вперед под красным знаменем! Форменный ужас! Раньше были мощи, ну, там, Сергея Радонежского... и этого, как его, Серафима Саровского... а теперь — что?! Заменить мощи святых мощами Владимира Ильича?! Фу! Гадость!

Троцкий тяжело дышал.

Сталин его не перебивал.

Все так же усмехался.

— Я очень бы хотел узнать, кто такие эти хитрые товарищи из провинции, что предлагают с помощью достижений науки сохранить останки Ильича! Забальзамировать тело, превратить его в святые мощи! Я бы встретился с этими товарищами лицом к лицу! И я бы уж поговорил с ними! Я бы сказал им... — Троцкий пыхтел, как паровоз, кровь прилила к его смуглому лицу, пенсне опять свалилось у него с носа, и он не стал ловить его: оно висело у него под подбородком, моталось на тонкой серебряной цепочке. — Что их амбиции не имеют ничего общего с наукой марксизма! Что это подлость, так предавать марксизм! Так откровенно его подставлять!

Троцкий, шумно сопя, уселся за стол, не ожидая разрешающего жеста Сталина и не глядя на него.

Сталин молчал. Потом разлепил рот.

— Кто ишо жи-лает выска-заться?

Медленно встал за столом Бухарин.

Сталин измерил Бухарина деревянным взглядом, как закройщик — деревянным метром — рост клиента.

Бухарин выставил перед собой сцепленные руки и хрустнул пальцами.

— Простите великодушно, Иосиф Виссарионович. — Начал мягко, вкрадчиво. Ничто не предвещало грозы. — Я должен вам сказать. И всем сказать. — Обвел взглядом всех, сидящих за столом; его аккуратные усики смешно вздрагивали, будто у него на губе сидели два сверчка. — И смею надеяться, мои слова не будут истолкованы превратно! — Внезапно крепко схватился обеими руками за спинку стула, на котором сидел, рядом с ним, Троцкий. — Если мы сделаем из Ильича египетскую мумию, это станет прямым оскорблением его памяти!

Каменев кивнул и закрыл рот ладонью, будто заталкивал внутрь себя готовые вырваться слова.

Бухарин расправил плечи. Он уже будто парил над столом, его голос гремел и гудел. Он шел войной на заседавших, как на молчаливые поля идет страшная гроза.

— Эта идея, сохранить нетленным тело вождя, полностью противоречит мировоззрению Ленина! И нашему с вами, товарищи, мировоззрению! Думаю, дальнейшему обсуждению эта вредная идея не подлежит!

— Вы нэ правы, Ника-лай Ивана-вич. Пад-лежит аб-суждению всо, — спокойно, продолжая усмехаться, вставил Сталин.

Бухарин смело обернулся к Иосифу.

Заговорил горячо, властно, рубя воздух сжатым кулаком.

— Нет! Не все! Есть вещи, которые не подлежат даже публичному оглашению, не только обсуждению! Вдумайтесь только, что вы хотите сделать! Вы хотите возвеличить мертвое... будущее, — поправился он, — мертвое тело! Обожествить прах! Я наблюдаю в последнее время опасную тенденцию. Мы, коммунисты, хотим сделать наших учителей и соратников — святыми! Я слышал о том, что из Англии хотят перевезти к нам, в Москву, прах Карла Маркса. Якобы этот прах, захороненный близ Кремлевской стены, прибавит святости всем тем, кто там, рядом с Кремлем, лежит в земле сырой. Святости, вдумайтесь! — Раздувал ноздри, как бык. — Прошу прощения, я, конечно, передаю сплетни, но я сам это слышал, своими ушами! Это же черт знает что такое!

Выдохнул. Оглянулся на Каменева.

— Лев Борисович, поддержите меня, пожалуйста! Ну почему все молчат!

Бухарин стоял, не садился.

Встал Каменев. Развел руками.

Он был в белой рубашке, очень любил всегда все белое, светлое. Будто бы всегда стояло теплое, солнечное лето.

— Да, да, да, тысячу раз да! Николай Иванович все правильно говорит! — Заговорил страстно, быстро, сбиваясь, путаясь, брызгая слюной, утирая рот, усы и бороду ладонью, сам себя перебивая. — Это ваше бальзамирование — чушь собачья! Вы даже не представляете, как на это отреагирует народ и как он... это же надо, не понимать одного, что это поповство самое настоящее! Попы бы вас похвалили... вернее, не похвалили бы, а ужаснулись тому, что вы красного вождя... а между прочим, Ленин сам ведь буквально ненавидит попов и поповщину! Он сам всю жизнь — с религией борется! Он не знает, как нам... слушайте, но это же колоссальная ошибка, ее нельзя делать ни в коем случае! Мощи! Православие! Попы с кадилами идут! И куда они идут?! Где вы предполагаете хранить мумию?! Выставить ее на всеобщее обозрение?! И чтобы народ шел, шел... слушайте, но если вы сообщите о ваших далеко идущих планах Владимиру Ильичу, он вас поднимет на смех! Или хуже того! так словом пригвоздит, расстреляет, что — век не воскреснете! так и будете ходить мертвецом... Какие-то товарищи из провинции! Черт знает кто! А знаете что! Назовите-ка нам их имена! ну, фамилии этих самых товарищей! Ну, кто выдвинул идею бальзамирования! Мумия Ленина, ведь это ж надо такое придумать, а! в голове не укладывается! Николай Иванович, вы...

Весь потянулся к Бухарину, ища поддержки.

Сталин сильнее уперся пальцами в покрытый бархатом стол.

— Я ат-казываюсь называть вам фа-милии этих та-варищей.

Быстро, будто на другом конце красного стола клюнула на невидимую удочку рыба, и ее надо было подсечь, встал со стула Калинин.

— Товарищи. Успокойтесь. Не так громко. Уши болят от ваших... гм, криков. — Потрогал пальцами свои большие уши, опять подергал, пощипал белую бородку. — Вопрос непростой. Вопрос — серьезный! Что и говорить. Я сам деревенский человек. Я — из мужиков. И с твердой уверенностью могу вам сказать, что в восприятии любого простого мужика Ленин — это силища. Это не просто человек, который своротил и разбил махину самодержавия. Он для мужика — своего рода... попрошу не смеяться, не перебивать меня... не кричать мне грубости... Бог! Да, своего рода Бог, да! Так! И мужик нас плохо поймет, если мы просто возьмем и... — смутился, — положим Ленина в яму... в землю... и — закопаем...

Смущался говорить о Ленине, еще о живем, как о мертвом: будто вождь уже умер, и надо было срочно распорядиться останками.

— А што же захо-чит ат нас мужик?

Сталин спрашивал спокойно, медленно, почти по слогам произнося слова.

Калинин протянул руку к бороде — подергать, но опустил руку вниз. Стоял перед Сталиным по стойке «смирно».

— А то самое! Вот эти мощи и захочет, о которых мы тут битый час толкуем!

Сталин перевел пристальный взгляд на Рыкова. Глаза его искрились, смеялись. Будто бы он выпил вина и веселился, вот-вот запоет.

— А вы, дара-гой Алексей Ива-навич, што мал-чите да мал-чите? Сваи са-абражения на этот счет имеете? Если да — милости пра-шу! Вы-скажитесь!

Рыков поднялся над столом.

— Вот вы, Михаил Иванович, из мужиков. И я — из мужиков. Из крестьян я. Революция меня в плен взяла давно. И не жалею. Что ж я вам всем скажу? — Обвел всех мрачными, горящими темным пламенем, широко стоящими под бычьим упрямым лбом глазами. — Вам, интеллигентам? Я, быть может, права даже не имею. Но я боролся за революцию, как все мы. Страдал. Шел вперед. Я понимаю, Ленина вот-вот не станет. Он тяжело болен, я все понимаю. Но, товарищи, нельзя так. Это наше собрание — оно и правда святотатственное. Нельзя так о живом человеке. Перекрестить лоб! — Он неожиданно горько, тяжело вздохнул. Все ждали. — Все мужики за много веков привыкли крестить лоб! Привыкли думать о том, что выше их — Бог сидит! Все равно там, за облаками, сидит! — Рыков показал узловатым пальцем вверх, в потолок. Сталин поморщился. — А тут вдруг Бог — и на земле оказался! Среди нас!

Троцкий сидел красный, краснее красnobархатной скатерки.

— Что вы тут... о чем вы... как язык у вас поворачивается...

— Да! — Рыков вскинул гордую красивую голову. Он, мужик, тут, среди закоренелых партийцев, гляделся старорежимным князем. — Поворачивается! Крестьянин увидел, узнал, что на земле могут быть такие же сильные люди, как силен Бог над ними! И что эти люди... этот человек... действительно взял да и повернул, и перевернул землю, мир! Весь уклад перевернул вечный! И начал собою новую эпоху! Мы, — обвел всех плавным жестом вытянутой сильной руки, — даже еще толком не понимаем, что он сделал. Как он руль повернул. Мужик ждет земли. Мужик затаил дыхание: как оно все сложится? И мужик, во всей стране, прекрасно знает: Ленин, Ленин ему путь указал! И вот Ленина нет. Конечно, мужик ждет, что такой мощи вождя, вождя такого ранга... для мужика даже не царского — Божьего ранга! — не возьмут и не похоронят, как простого смертного, на кладбище в земличку закопают, а похоронят его как-то необычно, как-то... — слово искал, — велико!

— Вэ-лико, — Сталин разгладил пышные усы, — вэлико...

— Да! Велико! Ритуал похорон Ленина должен отличаться от обычного траурного ритуала! И будет отличаться! Иначе народ нас не поймет!

— Вы хотите сказать, что Ленин — это живой Бог?! наместник Бога на земле?! Помилуйте! — Лицо Троцкого перекосилось, волосы буйно взметнулись у него надо лбом и торчали в стороны, устрашающе вились, как у берсерка в бою. — Вы хотите его тело положить в красную раку?! Культ, культ! Мощи в золотой раке! Ужасающе! Бред! Я никогда не думал, что доживу до такого бреда! Что мы этот бред будем обсуждать на Политбюро! Всерьез! Я хочу уйти отсюда! Покинуть собрание!

Говорил это и продолжал сидеть.

— Ска-третью да-рога! — спокойно, с улыбкой сказал Сталин.

Рыков зарокотал:

— Мы все должны обдумать! Взвесить все! Ленин — гений. Он, да, перевернул мир. Указал дорогу! И, товарищи, хотим мы этого или не хотим, но последующие века будут обожествлять Ленина. Придут другие поколения и вознесут его на пьедестал! И мы должны это хорошо понимать. А вы понимаете это? Понимаете?!

Опять все молчали.

Каждый боялся кивнуть.

Сталин вжимал кургузые пальцы в скатерть.

Скатерть шла красными волнами.

Рыков, судя по всему, ничего не боялся.

— Не золотая, а красная рака! Да, красная! Религия и политика — сестры! Хотим мы этого или не хотим! Нас никто об этом не спросил.

В тишине было слышно, как хрипло, бешено дышит Троцкий.

Сталин мазнул глазами по Рыкову.

— Спа-сибо, Алексей Ива-навич. Ува-жил. Ты всо правиль-на понял. А вот та-варищ Троцкий што-то нэ туда мысль па-слал.

Троцкий, с места, затравленно крикнул:

— Товарищи! Слушайте! Это какая-то плохая комедия! Страшная! Ведь Владимир Ильич не умер! Он же еще жив! Жив?! Или, может, уже умер?!

Сталин побледнел быстро, у него выжелтило волнением и презрением щеки, ярче виделись на бледно-желтой коже оспины.

Он заставил себя это сказать.

— Нэт. Нэ умер. Ка-нэшно, нэт.

Общий, еле слышный вздох облегчения медленно вытекал из людских легких.

Нет людей в Красном Мире: есть знамена и символы.

А красная рака, ведь ее никогда не было?

Значит, будет.

<...>

* * *

Крупская плотнее укуталась в шаль. Какой морозный стоит январь в этом году.

Ильич за ее спиной уже сидел в кресле-каталке. Его подняли с постели и одели чужие руки. Жена надела на него только пиджак и еще затянула галстук — он любил, чтобы к рубашке был подан галстук, узел галстука под шеей придавал ему больше уверенности: он был для него как для военного эполеты и аксельбанты.

Ильич дышал тяжело, будто работал насос. Она слушала эти хрипы. Но все так же холодно, молча смотрела в расписанное ледяными хризантемами окно.

Ленин перестал хрипеть и глухо позвал:

— На-дя!

Она не отозвалась. Сжала руки под шалью. Думала о своем.

Ильич повысил голос и дал петуха, как плохой певец в опере.

— На... дя!.. а раз-ве не пора?

Крупская, тяжело утираясь локтями в колени, сначала приподняла над сиденьем зад, потом медленно выпрямила спину. Подшаркала к креслу-каталке.

— Володичка, ты прав, пора. Я позову Епифана, он повезет тебя.

Она тяжело, возя по паркету ногами, подошла к двери, распахнула створки, крикнула в звенящую холодную пустоту:

— Епифа-а-а-ан!

Мужик вынырнул, будто из проруби в морозный воздух, обрадованной, играющей серебряной рыбой. Белая праздничная поддевка, седая, смазанная маслом голова.

— Я, ваше бла... товарищ Крупская! Здесь!

Жена вождя взялась ладонью за лоб.

— Уф, напугал меня как... Вези Ильича в залу, дети уж собрались!

— Ить да, слышать, как гомонят. Веселья им, елка-то!

— Ну, ну, бери, вези уж...

Епифан вошел в спальню, нюхнул спертый воздух, взялся за спинку каталки, выдохнул, развернул вождя вместе с каталкой к двери, выкатил в коридор, а коридор сегодня был освещен — Крупская заставила зажечь все люстры, все лампы, пусть все огнями полыхает и пусть по-старому, как до революции, празднуют Рождество. Бога нет, а рождение Его празднуют, поди-ка ты, изумленно думал Епифан, катя кресло на огромных, серебряно блестящих колесах по гладкому, как речной лед, паркету. Все никак отвыкнуть не могут! А что, может, попрыгают-попрыгают без Бога-то да вдругорядь к Нему и вернуться. Без Бога — нельзя, как так без Бога. Детишки, оно понятно, в Него теперь уж мало верят... да сами детишки — они ведь Бог живой, сказал же Он в Писании: будьте как дети...

Ильич прижимался спиной к обитой клетчатой шерстью спинке каталки. Мелькали длинные спицы в колесах. Мужик катил вождя по коридору быстро, с ветерком, будто на тройке вез по чистому полю, под ветром и снегом.

— Иэ-э-э-эх-х-х!

Разбежался, колеса скользили по льду паркета, спицы сверкали, мелькали все быстрее.

Ильич вцепился левой рукой в подлокотник. Правая лежала на коленях. Колени были заботливо укрыты пледом.

— Ты... Епи-фан... ты не так... быс... быс-тро...

Мгновенно проскочили коридор, мужик замедлил бег перед открытыми дверями в залу.

— Тпру-у-у-у! все, прибыли, товарищ Ленин Володимер Ильич!.. детки уж заждались...

Мужик вкатил каталку с неподвижно сидящим вождем в залу, и гладкие, отлакированные временем белые колонны пылали лучезарным льдом в свете огромных хрустальных люстр. Ленин огляделся, с натугой поворачивал короткую шею. Никого не было в зале.

Вождь беспомощно свел брови на лбу домиком.

— Наденька!.. а где... де-ти?..

Крупская, едва дыша, подтаскивала увесистое тело к дверям, и вот уже входила, и вот уже слышала истаивающий в лучах праздника ленинский растерянный вопрос.

Подошла к каталке, успокаивающе положила потные ладони на плечи Ильича. Не могла отдышаться.

— Дети?.. да вот же дети... Эй! дети! где вы! куда спрятались! выходите!

И дети начали появляться.

Вышли из-за елки. Выползли из-под черных, колючих ветвей, будто они были зайцы и от волка прятались там. Попрыгали на паркет из-за гардин, с подоконников. Выкатились на голый электрический, беспощадный свет из-за белых, в три обхвата, колонн. Медленно, робко входили в залу из распахнутых гостеприимно дверей — не людьми, а собаками, кошками господскими: позвали — бежим, поманили — вот они мы, тут.

Одеты все были во все самое лучшее. Родители нарядили их во все самое праздничное, во что наряжали от века крестьянских детей: девочки шли по зале в длинных, до полу, полотняных рубахах с красными вышивками у ворота и по подолу, мальчики в аккуратных портках и белых холщовых рубашках навывпуск, подпоясанных и нарядными кушаками, и простыми пеньковыми веревками. У многих на коленях портков сидели кожаными жабами заплаты. Крупская смотрела на их ноги. Все в лаптях. Только две девочки в башмачках; одна в красных, другая в черных; из сундука на торжестве достали, строго-настроено наказали: ничем не попачкать, каблучок не сломать.

Жена вождя растерянно обводила детей подслеповатым взглядом. Она забыла надеть очки. Лица детей она видела туманными, расплывчатыми, как сквозь взбаламученную воду в купальне. До ее слуха донесся снаружи тонкий, тихий вой. Она вздрогнула. Потом поняла: это выла метель.

А где же детские шубки, зипунчики, шапочки? Куда они их сложили? Где разделись? Не перепутают ли потом свою одежоночку?

Крупская подходила ближе и различала: на рубахах тоже заплатки, штопка на штопке, и лапоточки грязенькие, истоптанные, не насвежо их сплели, много уж в них хожено, — и она не знала, не могла бы догадаться нипочем, что всю эту чинно-важную одежечку, праздничные наряды, молча плача зимними ночами, сшили им их матери из взрослых обносков.

— Здравствуйте, дети! — возвысила она голос. — С Новым годом!

— С новым... с новым... с новым... с новым! — зачастили детские голоса. Девочка в красных башмачках испугалась, что она крикнула слишком громко, невежливо, и от стыда закрыла глаза локтем.

Епифан переступал с ноги на ногу за спиной Ильича.

— Володимер Ильич, скомандуйте, куда лучше вас пристроить! К елочке поближе ай к окошечку?

— Из окна дует, — холодно сказала Крупская. Распорядилась: — Подкати сюда, вот сюда.

Указала на торчашую вбок и вверх мощную еловую лапу.

Под нее Епифан услужливо подкатил каталку, и Ильич выглядывал из-под могучей ветки, как из шалаша.

У него один глаз глядел мертво, навывкате, мячом для пинг-понга вываливался из-под лба, а другой дергался, бегал туда-сюда, словно все, что видел, желал обнять одиноким сиротским зрачком, погладить, пощупать, — запомнить.

— Удобно ли вам тута, Володимер Ильич?

Епифан утер ладонью рот и усы, будто уже накушался сладкого.

Глаза его косили вбок, за ближнюю колонну: там стоял укрытый чистой крахмальной скатертью стол, на нем возвышался пузатый баташовский, весь в клеймах, как в болячках, самовар, блестел тусклой, грязной медью, стояли чашки, возвышались сложенные горкой блюда, вповалку лежали чайные ложечки, а дальше, Епифан различил, расстелился во весь стол огромный пирог, невесть с чем, нос Епифана отсюда, издали, никак не мог унюхать, а за пирогом маячило блюдо с румяной горкой малых пирожков, а за блюдом стояла расписная гжельская ваза, доверху полная разномастными конфетами.

— Ишь, конфекты... — Мужик цокнул языком. — И подарки, видать, тожа пообещаны... а игде жа оне...

Шарил глазами по зале. Отыскал возле дальней колонны корзину; из корзины торчали маленькие мешочки, крепко завязанные цветными тесемками. Выдохнул довольно. Поклонился Крупской в пояс. Она воззрилась удивленно, свиные глаза еще больше округлились.

— Спасибо, спасибо вам за детишек... уважили вы их... то-то им радостей дома будет, рассказней...

Жена Ленина надменно махнула рукой, как на муху: отвяжись!

Стала ближе к мужу, обвела глазами детей. Она никогда не знала, как надо обращаться с детьми. Быть с ними ласковой? доброй? Осаживать их? Кричать на них, если шалят?

— Володя, давай начнем... — Не знала, с чего начать. Смотрела на мужика. Мужик почтительно отступил на шаг. Пожирал глазами то хозяев, то елку, то люстру над собой, над своей сивой, голой головой. — Дети! — Раскинула руки, будто собираясь плыть в ярком воздухе и переплыть светлый зал. — Давайте водить хоровод вокруг елки! Кто знает веселые песенки? Пойте!

Дети молчали. Перетаптывались.

Девочки в башмачках стояли под елкою не как все, не в развышитых рубахах — в шерстяных поневах, в цветастых душегреях и в ярко-красных, в цвет флага СССР, фартучках. Одна, что ближе к Крупской жалась, разгладила ладошками свой яркий фартук, вскинула голову и внезапно пронзительно, окая, сжав руки в кулачки, запела:

— Ох яблочко! Ищю зелено! Мне не надоть царя! Надоть Ленина!

Выкричала частушку, и все молчали. Потупились. Ильич, в каталке, сидел, будто не слышал. Все так же таранился в удивительный мир выкаченный из орбиты мертвый глаз. И все так же безумно, тревожно бегал другой — по головам детей, по колоннам, по елочной мишуре.

Крупская ближе шагнула к елке и шире растопырила руки. Ее толстые пальцы шевелились в воздухе, будто пытаясь кого-то невидимого поймать и раздавить.

— Ну же! Не стесняйтесь! Берите меня за руки!

За правую руку ее взяла девочка в красном фартуке. За левую — девочка в длинной, вышитой красными крестами рубахе.

— В лесу родилась елочка! В лесу она росла! Зимой и летом стройная, зеленая была-а-а-а!

Дети быстро выстроились в хоровод. Крупская пошла вперевалку, и дети, как гусята за гусыней, пошли за ней, вокруг елки. Они не все знали эту песню, может быть, никто не знал, но они быстро подхватывали ее и голосили кто как может, на разные лады, чисто и фальшиво, весело и смущенно, — как бы там ни было, хоровод вокруг елки шел посолонь, Ильич глядел на них, зимняя песня раздавалась, елка сияла огнями.

— Метель ей пела песенку... спи, елочка, бай-бай! Мороз снежком укутывал...

Ильич согнул палец и пальцем подозвал к себе парнишку в поддевке с аккуратными заплатками на локтях. Мальчик послушно подошел к вождю.

— Я тебя уз... уз-нал! Ты — Ваня! нет?

— Я — Ваня! — подтвердил мальчик. Смотрел на Ленина без улыбки.

— Ваня... Ва-ня... — Казалось, вождю доставляло удовольствие повторять его имя. — Ва-ня... где я тебя ви-дел?..

— Так я ж вместе с дядей Епифаном услужаю вам!

Ленин округлил полуоткрытый рот.

На его лысине блестели бисерины пота.

Иван отер о штанину потные руки. Все жарче становилось.

Крупская распорядилась хорошо натопить в зале, где будут вокруг елки водить хороводы.

А детям казалось: елка разгоралась, и тепло в залу шло от нее, от ее веселого пламени, горели на ней смешные электрические лампочки с красными проволочками внутри, горели связки бус и гирлянд, горели маленькие свечки в крохотных стальных плосечках, — огонь для безумной от голода мыши, иллюминация для стрекозы, для сонной осенней мухи.

Ленин оторвал выпученный глаз от Ивана и уставился на елку.

— Го-рит... го-рит как... ярко!.. как бы не было... по... пожа-ра...

Крупская встала. Хоровод остановил кружение. Толстуха хлопнула в широкие, как весла, ладоши, она не знала, почему у нее вдруг это вырвалось:

— Дети! А теперь все — а ну-ка к Ильичу! Не бойтесь! Идите к нему!

Дети подходили к Ленину, кто резво и весело подсакивал, кто шел медленно, робко, чуть ли не на цыпочках. Вот они все уже обступили вождя. Его можно было трогать, теревить за край обшлага, толкать пальцем в колено, в плечо. Но они робели это делать, это казалось им немислимой дерзостью, за которую накажут страшно. Шутка ли, властелин мира! Всего Эссэсэра, а он-то и был прежде Россиею. Но ведь Россия никуда не могла исчезнуть; она была прежде, была и сейчас. Какая разница, как ее взрослые назовут? Взрослые, видать, тоже играют в свою игру. Вся Россия — это был целый мир, далекий и непонятный. Понятной была только своя деревня, да этот праздник, да этот гладкий, растянуться можно и ногу сломать, какой блестящий, богатый паркет, да вдали, у колонны, корзина с гостинцами, да запах пирога, пока неясно с чем. Вот раскусят — узнают!

Ваня быстро склонился к девочке в красном фартуке и быстро, громким шепотом сказал:

— Там красная начинка. Мне кухонная баба сказала. Ягоды, видать. В сахаре.

Девочка в красном фартуке взяла Ваню рукою за шею, нагнула его голову к себе и, беззвучно и мелко смеясь, шепнула в ответ:

— А можа, красна рябина! Горька! Вырви глаз!

Самый смелый подсунил круглую, в горшок стриженную башку под левую руку Ильича. Ильич погладил этот русый затылок, эту густую русую челку.

— Экий ты... весе-лый... мальчик...

Стриженный под горшок растягивал большой рот в ухмылке, торчали шербатые зубы.

Осмелели. Шупали рукава пиджака вождя. Гладили его по плечам. Гомонили. Вопросы кричали. Кто какие. Себя не слышали. Кто-то елку локтем задел — на паркет посыпались осколки стеклянной игрушки. Осколки блестяли нестерпимо. Крупская ахала, вскрикивала:

— Осторожно! Не наступите! Сейчас я попрошу горничную, она заметет!

Переваливалась уткой ко входу. Кликала прислугу. Бабы входили, вытирая руки о мокрые фартуки.

— А ить пирог-то порезали ай нет?

— Да ножа тут нету! Иди на кухню, тyani!

— Держися, паркет ровно как каток! упадешь, носом грянесси!

Бабы подошли к столу, белые их кофты и белые юбки падали вниз крупными крахмальными складками. Они сами были как столы, укрытые камчатными скатертями в честь праздника. Нож с кухни был принесен; одна из баб подняла нож высоко над пирогом и отчаянно резанула лезвием по его поджаренной в печи плоти, как по голому человеческому телу. Ваня с любопытством глядел через головы. Мальчишки

и девчонки, что столпились у каталки Ильича, затихли. Все смотрели на бабу, разрезающую пирог.

Под ножом отваливались куски, и внутри, и верно, мерцало красное, густое.

— Ты глянь, глянь с чем, со сливами? с красными?

— Не разгляжу отседова... может быть, с земляникою...

— Али с брусникою, похоже так...

Крупская указала на стол: бегите туда! Самовар, горячий, загодя разогретый, ждал женских рук; руки отворачивали кран, разливали в чашки чай. Дети забыли про Ленина и ринулись к пирогу. Обступили стол. Трогали пальцами самовар, обжигались, хихикали. Подставляли блюдца. Бабы руки все клали и клали в блюдца куски пирога, его все разрезали, а от него чудом не убывало, и бабы переглянулись между собой — не иначе, чудо!

— Гляди... не убывает...

— А мы уж скольких оделили...

— Можя, покрупней оттяпывать?

— Какое крупней... в блюдечки не влезет...

Дети стояли вокруг стола, вонзали зубы в пирог.

— Вкусно? Ай? Не слышим!

Радостно мотали головами, не в силах ничего сказать: рты вкусом забиты были.

Крупская стояла рядом с каталкой. Ленин левой рукой нашел ее руку. Пожал. Ее рука лежала в его руке снулой холодной рыбой. Она освободила руку, тускло сказала:

— Кажется, дети счастливы.

Покосилась на Ильича. Он повернул голову так медленно, будто у него заржавел позвоночник.

— А ты? Счаст-лива?

Она опешила. Не ждала такого вопроса.

Не знала, что отвечать.

Он смотрел ей прямо в лицо единственным живым глазом. Сжал в кулак единственную живую руку. Поднес кулак к лицу. Будто себя самого хотел ударить. А потом медленно опустил, разжал руку и потерянно смотрел на свои растопыренные, синие пальцы. Синие конечности, холодно думала жена, плохо работает сердце. А разум, разум еще при нем. И он ждет ответа на свой простой вопрос.

— Да, — выдавила она.

И тогда он, не переставая сверлить ее горячим глазом, вымолвил натужно:

— На-денька. Это... не-прав-да.

Она хотела взорваться гневом, но осталась холодной, как толстолицая старинная парсуна. Бессмысленно врать. Бессмысленно говорить правду. Он все равно не поверит. Вот этим детям, что у стола жадно жуют пирог и запивают чаем из мяты и кипрея, он больше верит, чем ей. Нет, и детям тоже не верит. Все эти дети завтра станут взрослыми. Станут — народом. И с этим народом надо будет обращаться сурово. Иначе народ восстанет и сметет тебя с трибуны, выметет из Кремля. Сегодня дети! Завтра народ! Для народа, как для коня, надо готовить кнут, оглобли и чересседельник. Лишь тогда он побежит вперед. А так — он обернется назад, и воздымет руки, и пойдет на тебя, как черный медведь на охотника, и ты испытаешь первый и последний в своей жизни великий ужас.

Разве не народ жег усадьбы? Разве не народ расстреливал друг друга?

Уж лучше власти убивать свой народ, чем народу — убивать свою власть.

Спору нет, власть должна быть жесточе.

— Я несчастна лишь потому, что ты болеешь.

Он неотрывно смотрел на нее. Ей становилось нехорошо под этим долгим, насквозь пробивающим ее мозг взглядом. Она видела: эти глаза не верят ей.

— Но ты выздоровеешь!

Выпученный глаз крикнул ей: нет!

Она хотела отвести глаза и не могла.

— Володя, пощади меня...

Она прохрипела это, закидывая под его взглядом голову, пытаясь отвернуть лицо, избавиться от этих липучих, перцем щиплющих ее щеки и веки, ядовитых зрачков. Не удалось. Глаза прилипли к глазам. Крупская стояла, как под током. У нее онемели ладони и ступни.

Дети гомонили вокруг стола с пирогом и самоваром. Вспыхивал смех. Звенели чашки, звенели ложки, размешивая комки сахара. Пирог убывал. Чуда не состоялось. На сегодня чудо отменили. Все оказалось просто и весело. Веру в чудо убили наповал, как на охоте. Верить было не во что, да уже и не нужно совсем. Елка мотала черными лапами, обмотанными серебряным дождем и стеклярусом. Руки и зубы добрались до смешных пирожков. До хрустящих серебряной фольгой конфет. Дети облизывали губы и ложки. Нюхали измазанные вареньем пальцы. Это был брусничный пирог. Ваня угадал.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

<...>

Солнце выкатилось из туч неожиданно: с утра небо вздрагивало серыми шкурами туч, и признаков не было ясного дня.

Сугробы вспыхнули богато, радужно.

Ленин шурился, глазам больно было от столь яркого света. Ехали через лес по укатанной дороге. Здоровой рукой вождь вынул из кармана меховой куртки часы. Полудня еще нет, чудный день! Самое время зверю гулять.

Охрана стояла, рядом с солдатами крутились на сворке, привязанной к дереву, гончие собаки.

Ленин, из саней, еще едучи, увидел собак и засмеялся, как ребенок.

— Вот-вот! Вот-вот!

Размахивал руками весело.

Он смотрел на собак, они залаяли, приветствуя охотников, смотрел вверх шевелящихся ушей лошади. Яркое солнце, злой мороз! Веселье и страх! Наденька говорила ему: тебе нужны сильные эмоции. Ты же так любишь охоту! Будут стрелять, будут убивать зверей. Хочешь — волков, а хочешь — зайцев! Вот-вот, кивал он, вот-вот!

Сани трянуло на повороте, кучер чуть не упал в снег с облучка. Левою рукой Ленин взял край мощного бобрового воротника и уткнул нос в мягкий бархатный мех.

— Што, Володимир Ильич, знатно прихватывают?

Епифан похохатывал, оборачиваясь.

— Вот-вот!

— Греет, греет вас бобровая шуба-то... ищо как греет... Шапку-то, шапку на лоб глубже надвиньте! и лоб мерзнуть не станет!

Ленин послушно натянул массивную шапку из темного куньего меха на лоб, на брови.

— Больша голова у вас, много думат, шапки все малы... — бормотал Епифан, настаивая лошадедку.

Увязая в сугробах, навстречу саням трудно, медленно шел егерь Плешаков.

Уже издали стал кланяться вождю.

Епифан сорвал с башки шапку и помахал ею в воздухе. Напялил снова.

— Ишь, кака холодрыга, волосья вмиг заиндевеют...

Егерь подходил, морщась: снег набивался в валенки.

Ленин радостно, по-детски улыбался и, как заведенная механическая игрушка, все кивал егерю, все кивал и кивал и не мог остановиться.

Епифан шлепнул рукавицей о рукавицу. От громкого хлопка Ленин вздрогнул и перестал глупо кивать.

— Будет вам, барин... тоись товарищ Ленин... шею натрудите...

Егерь уже стоял около саней, глядя на вождя, как верная собака.

— Ну что, дорогой Владимир Ильич? С прибытьицем в лес вас!

— Вот-вот! — радостно выкрикнул вождь.

Егерь, прислонившись к саням, ловко снял сперва один валенок, затем другой, вытряхнул снег.

— Извиняйте... а то носки промокнул, а с мокрыми ногами, знаете... простуду заработаешь... Откроем охоту? Нечего нам мешкать! Мороз жмет нещадно!

Ленин кивнул. Улыбка не сходила с его губ; солнцем беспощадно были освещены его подгнившие, как у старого волка, зубы.

— Крепок морозец! — крикнул с облучка Епифан.

— Я беру собак и иду с ними туда... — Егерь махнул рукой себе за спину. — За овраг! Туда, к Горелому пню! Мы с вами еще там стреляли вальдшнепов, помните? Приведу туда гончих и пущу. А вы тут ждите, готовьтесь. Не проглядите! Я на вас надеюсь! Ну все, пошел я!

Ленин поднял левую руку. Помахал ею из стороны в сторону, будто приветствовал егеря. А потом помахал взад-вперед. Это означало: ступай, спеши!

Егерь отвязал собак, надел петлю сворки себе на плечо, гончие стали обрадованно прыгать, наскакивать на егеря; он шарил в карманах охотничьей куртки, и вытаскивал оттуда сухари и куски сахара, и оделял собак, а они притискивали влажные носы, морды к ногам и валенкам своего хозяина и бога.

— Ну, ну... Не на всех тут у меня хватит...

Побрел вперед по уже протоптанной тропинке. Собаки весело, прыгая вокруг него и царапая его, ринулись за ним. Егерь исчез из виду. Епифан легко, как молодой, спрыгнул с облучка. Подошел к вождю. Радостно опаживал его горячим, светлым взглядом. Он знал, что вождю отчего-то трудно стало говорить; значит, надо было говорить самому, не дать вождю понять, что он бедный, больной, — говорить как со здоровым, как будто ничего и не произошло. Да ведь вот он, на охоте, рядом с ним стоит! На снегу! Улыбается! Ну все как встарь! Ничего, ничего, еще воспрянет вождь! Еще даст, даст им всем землю! И волю! То-то они насладятся, распотешатся! Вековую ведь мечту вождь для всех них, мужиков всяя земли, исполняет. Как бы это ему сказать, да прямо сейчас?

И Епифан рухнул в это свое желание, будто разделся и сиганул в ледяную черную иордань в Крещение Господне. Ах ты батюшки, да ведь оно ж нынче! Богоявление-то! Водосвятие! В шесть вечера наступит! Как тут с Богоявлением быть, если Бога навсегда отменили?

— Володимир Ильич!

Охранники сдернули с плеч ружья, стояли наизготове.

Ленин беспокойно шарил вокруг себя глазами. Улыбка все еще не сползала с его раскрытого рта, но губы уже от мороза начали синеть, а глаза бегали быстро и тревожно, искали. Что? Епифан догадался. Вождь искал ружье. Он же — на охоту приехал!

— Ах ты, Господи-Исусе, возьми меня за уси...

Наклонился, шубенка на заду оттопырилась, чуть выше валенка на портках виднелась лохматая дыра — собаки за гачу трепали.

— Вот, товарищ Ленин! Возьмите! На охоте дык и без ружья!

Протягивал Ленину ружье.

Ленин взял ружье левой рукой. Крепко сжимал. Улыбнулся шире. Глаза прекратили бегать голодными собаками.

— Ну вот оно и славно. — Епифан вздохнул судорожно, хорошо, глубоко в грудь воздуху набрал. — А вот можно вопросец один-разъединый вам щас выложить? очень мне тот вопросец антерисует. Да не только мене. А и всех нас, мужиков!

Ленин, с ружьем в руке, замер.

Снег вокруг так резко, ножево, буйноцветно искрился под торчащим меж ветвей в бледно-синем небе белым солнцем, так нарядно-празднично вспыхивал и пылал, что казалось — они стоят посреди цветного холодного костра, внутри ледяного белого, звездного огня. Епифан понимал, что Ленин теперь не может говорить с ним, как раньше вождь говорил со всеми ними, и людьми, и простыми и непростыми, что теперь закончилась жизнь вольной здоровой речи вождя, но уповал на себя, на то, что ему удастся внятно, хорошо задать этот годами мучивший его вопрос, и не только его, но и тьму-тьмущую всех мужиков на его родной земле.

И он спешил выговориться, и сыпал словами, и прикрывал глаза от стыда, и вспыхивал гневом и недоумением, весь вспыхивал, как этот чисто-белый снег под равнодушным, а может, яростным и безжалостным зимним солнцем; он не знал, верно он говорит или чепуху несет, сначала стеснялся, а потом раскошегарился, уже ни о чем не думал, только бы выкричать, выплюнуть на чистый снег, под синее чистое небо эту истину, эту больную, грязную правду.

— Ты вот мне так скажи. — Нагло перешел с вождем на «ты» и не заметил этого: некогда о вежливости думать было. — Декрет-то был каков в семнадцатом годе? а? о земле? Земля — крестьянам, так? Так! Ты тот самый декрет, чую, и сам выдал! Нам всем выдал, народу! И народ — воспрянул. Взвился народ! Это знашь как: вот ты, к примеру, зверь, и тебе на охоте убили, а ты взял да вдругорядь воскрес. Очухалси! И воспрянул! И — жить хошь! Жить! Вот так же и мы, опосля всех голодух, всех отымок, всех недородов и убивств... захотели — жить! Землю себе — захотели! Да не только землю! А, знашь, все к ней! Земля без плуга — не земля! Земля без лошадей — не земля! К ней, к земле, надоть косы, серпы, сеялки, жатки... Семяна к ней надоть! В яе — садить! Живность! Штоб на ей — траву жевала! Хлеб голодным, ты так молвил тогда, в семнадцатом?! Верно молвил! Да только штобы тот хлеб добыть, яво надоть сперва — взрастить! Эх!

Хлопнул рукавицей по колену. Рукавица сорвалась с руки и полетела в сугроб.

Ленин стоял с ружьем в руке.

Он все еще улыбался.

Застыл, как снеговик.

— Так вот и што? Сперва поманили землю, так? А потом новай декрет выпустили! И им — прежней, што ты сам и удумал в саму революцию, отменили! Вот кто сочинил тот декрет-то новай? а? Каково хрена в ем было сказано, мужики мене растолковали все, я это поганство назубок заучил: всяка собственность на землю и все, што на ей, на всю яе природу живу, на зверей и птиц, на растенья и воды яе, ну то бишь реки да озера, и на все, што внутри ея, ну, значитца, на злато-серебро и всю полезность, што в ей таится, ну, там нефть, уголек и прочее такое, отменяцца наовсе! Ну, на все времена отменяцца! И што?!

Шапку с башки сорвал и мял в руках.

С ветки сорвалась крупная птица, может, сойка, а может, и глухарь; полетела вверх, в синеву, с еловых ветвей стали осыпаться тяжелые шматки снега, как клочки спутанной белой овечьей шерсти.

— С разума ить тут можно съехать! Сначала дать понюхать лакомый кусочек, навроде как вот лягавой... а опосля раз! — и дернуть тот кус к сабе, и снову в карман затолкати! Подразнили, навроде, почудили, и будя! Вот ты мене скажи... нет, скажи... — Дышал с присвистом на морозе, щеки выше бороды красными пятнами пошли. — Зачем, каково чертяка самых-наисамых крепких мужиков, ну, кто умет хозяйствовать, берут да стреляют?! а?! и именуют черт знат каким званьем... кулак! кто его таков, кулак? Пошто он кулак? Руку свою сжал, што ли, в кулак?! значит, работать хорошо умет! Единоличник, вишь! кулак, контра! Да если б той контры в Расее не было, по ея полям да деревням, и Красная бы твоя Армия — не прокормиласи бы! штоб власть в войне укрепити! Укрепили... власть... твою...

Осознал: говорит уж открытую ересь. Против власти говорит.

Против самого вождя.

А вот он стоит перед ним. Его — слушает. Во все уши.

И на ходу придумал, быстренько, растерянно выматерился:

— Твою... мать...

И доканчивал уже мрачно, не сбивчиво, а гладко, будто на похоронах на кладбище — над разрытой могилой калякал:

— Вот я и мучусь. И со мною все мужики. Я — за всех мужиков наших тут табе пытаю. Земля, ты мне ответь, земля-то навек от нас отобрана? или все ж может к нам как-то, не знай как, возвратунтси? Попрощацца можно нам с нашей землицей, ай есь надежа, есь все ж таки, што нам в руки она — все одно когда-нить придет? Ай больше никогда? Неужели и вправду никогда? Нет, ну ты слыхал все, ну ты ответь? а?

Опомнился.

— Ну вы... Володимер Ильич... вы — ответстуйте... мене, здесь, шас... таперича... вот прямо шас... я многова не прошу балакать... вы только кивните: да ай нет... Вернетси? да?

Ждал.

Снег с ветвей осыпался.

Солнце било в глаза.

— Да?..

Ленин все еще улыбался.

Все еще.

И вот улыбка стала медленно спадать, падать с его лица в сугроб. Как вспугнутый птичьими цепкими лапами с ветки снег.

— Вот-вот!

Крепко держа, поднял выше ружье.

«А ну как возьмет да одною рукой изловчится и стрелит», — подумал Епифан.

Упал на колени в снег. Снег поднялся ему, как белая сметана, под самый живот, под ребра.

— Володимер Ильич! Проститя, если што! Тольки не стреляйти! Я ищо вам пригожуся! Я ничево не хотел дурнова... вам... я тольки спросить... попытати вас... нащет землицы... мы по ей — всем народом плачем-разливаемси... и уняти те слезы не можем... нет...

Стоял перед Лениным на коленях, по пояс в снегу, и плакал. Губы кусал, усы кусал, усы-бороду слезами мочил. И знал, знал уже, что слезы эти — бесполезны, даже смешны, что нельзя, не надо было этого всего спрашивать, что бестолково это все и не нужно, и все останется на всю жизнь так, как есть, и, может, еще хуже станет;

и еще не те слезыньки и он сам прольет, и окрестные мужики, и ближний и дальний народ, — все насельники его земли, и при царе сиротской, и при большевиках непонятно как у них, мужиков, насовсем отнятой.

— Вы проститя... если што не так...

Хлюпал носом. Вождь выбросил вперед руку с зажатым в ней ружьем и громко крикнул:

— Революция!

Епифан уткнул лицо в пригоршню. Его голые руки медленно краснели на морозе, становясь похожими на гусиные яркие лапы.

<...>

* * *

<...> ...Кровать плывет. Это плывет баржа.

Она плывет по зимнему морю.

Над баржей, над морем, над снежным безлюдным берегом идет тихий снег.

И в тишине — шаги. Это идут по железному настилу трюма?

Это идут по берегу, и снег под сапогами хрустит?

Надо повернуть голову, но шея не поворачивается. Железными стали позвонки. И омертвели хрящи.

Подошло к его кровати что-то живое. Человек? Зверь? А может, подошел железный человек; Бухарин рассказывал ему как-то раз, что скоро люди смогут сконструировать свое железное подобие, и стальной гомункулус будет хватать, нести, укладывать, бросать, разрушать и строить. Он уже сделан? У него руки на шарнирах? Ноги в заклепках?

Качалась баржа. Заливал зимний мир свет снега. Стекла гигантского окна выстыли на морозе.

Железный человек подошел к его кровати и замер.

Ничего не говорил. Он — его — лежащего — слушал.

А больной затаился; молчал хитро; считал секунды про себя.

Раз, два, три, четыре, пять! Вышел зайчик... погулять...

По белому берегу, по девственной тундре отчаянно запрыгал заяц.

Его длинные ноги сгибались с трудом, как железные.

Он был железным, только выкрашен хитрым человеком белой масляной краской.

Он хотел убежать; он спасался.

Больной сжал левой рукой простыню, держал в кулаке белый ее комок.

Идущие краем тундры беззвучные мягкие сапоги остановились у его кровати.

— Вла-димир Ильич!

Он хитро смежил веки: авось меня не увидит, я спрятался, постоит да пойдет себе восвосяси.

— Эгей! Вла-димир Иль-ич! Ни-как всо ищо спите?

Он понял: спрятаться целиком не выйдет.

А интересно, какое у него лицо? Все то же самое, что денно и ночью склоняется над ним?

Он открыл глаза.

— Пра-стите, если я вас па-трэвожил!

Лицо маячило вверху, в северном тумане, другое. Баржа слегка покачивалась на волнах; был штиль, теперь задул легкий ветер, нанес снег. Снег шел прямо в комнате, нежный, веселый. Щекотал лоб и уши.

Он узнал это лицо. Эти усы; повисший тяжелый нос; желтые прокуренные зубы; не улыбку, а насмешку.

— Как ваше сама-чувствие? А?

Что если не отвечать?

Нет, надо ответить. Невежливо молчать.

— Конференция!

Сталин усмехнулся.

— Вла-димир Ильич, што ты, какая кан-фэренция. Это же я, Коба!

— Вот-вот!

Сталин поставил на стул портфель. Запустил пальцы в густые волосы. Наморщил низкий лоб.

— Я рад, друг, што ты мэня уз-нал.

Шагнул ближе, склонился ниже.

Что он делает? А, просто рассматривает его.

А потом берет руку и щупает пульс. Но он же не врач!

Сталин прокашлялся. Оглянулся на дверь. Надо было все делать быстро. И говорить — быстро.

— Вот што. — Он наклонился еще ниже, приблизил лицо к лицу Ленина. — Ты, гаденыш, сва-ла-ченьш. Ты да-живаешь сваи па-следние дни. Спа-сибо тебе за то, што ты скинул царишку с трона. Но ты на его троне а-казался без-дарным царьком. Крас-ный царь Ле-нин! Тибя давно нада бы-ла сбро-сить. Если тибя ас-тавить, ты раз-ва-лишь страну. Стране нужен жэ-лезный кулак. И у миня такой кулак — есть, вот он. — Сталин сжал толстые пальцы в кулак; Ленин с ужасом глядел на вставшие дыбом волоски на тыльной стороне его ладони. — Па-смотри вни-мательней! Да, да, сма-три! Больше нэ увидишь. Я Рас-сию вазьму в горсть и нэ выпущу. Никаг-да. Ты нэ власте-лин. Ты слабак. Тибе — толь-ка на глухарэй в лесу а-хотиться! а нада а-хотиться тэ-перь на людей! На людей!

— Революция... — прошептал больной.

— Рэ-ва-люция?! Забудь! Ты, забудь! Рэ-ва-люция пра-шла, как нэ бывало. Но ее имэ-нем мы будим ишо тряс-ти долгие годы. Штобы дэржать народ в страхе. Народ эта скот. Скот лубит плетку. Или даже дубину. Што там! Скот лубит нож! Скот нада рэ-зать! Рэ-зать, за-помни! Да што там! — Махнул рукой возле самого его носа. — Тибе уже нэ нужна запа-минать! Всо! Кончи-лась твае врэмя!

Больной пытался отвернуть лицо от горячего чужого дыхания.

— Вот-вот...

Сталин разогнул спину. Быстро шагнул к стулу. Щелкнул замком портфеля. Вытащил маленький пузырек, отвинтил крышку. Опять оглянулся на дверь.

Далеко, на том свете, по коридору раздавались шаги.

— Чорт, чьо-о-орт... — Наклонился над больным. — Пэй! Гла-тай!

Ленин отвернул лицо на подушке.

Сталин отчетливо сказал:

— У тибя друго-ва вы-хада нэт!

Придвинул горлышко пузырька ко рту вождя.

Зло взял его свободной рукой за подбородок, за щеки, раздвинул ему губы. Губы вытянулись в смешную, страшную трубочку. Будто Ильич хотел весело сказать: «Тю-тю-тю!»

— Пэй!

Ленин глотал жидкость из пузырька, глядя глаза в глаза Сталину.

Глотнул, задохнулся, ловил воздух ртом.

Сталин вылил в рот больного весь пузырек.

— Если кто спросит — скажи, я дал тебе па-лезное ле-карство.

Сунул пустой пузырек в портфель.

Обернулся быстрее молнии.

— Нэт! Слышишь! Ничи-во нэ гава-ри! Я тебе ничи-во нэ давал!

— Революция!

— Ага! А-пять рэ-ва-люция! Всо па-нят-но!

Нашел силы улыбнуться.

Больной тяжело дышал.

А может, все еще обойдется... может, и правда лекарство?

Тогда почему Коба ему показывал свой толстый кулак?

И какой же он красный царь? Он не царь. Красный, да! Но он Ленин. Он — вождь! Революция! Конференция!

— Ну, па-гаварим чуть-чуть. — Стоял у кровати. — Я на Палит-бюро га-варил уже о том, как тебя будим ха-ранить. Честь тебе и слава будит, дара-гой! Паха-роним так, как тебе и нэ меч-талось. Я всо пра-думал. У тебя будит мра-марная башня. Будишь лэжать там га-да, вэка. На всэ врэ-мена! Сдэлаю тебе хрус-тальный гроб. Он будит висеть на сэ-ребряных цэ-почках. Лучше, чем у мерт-вай ца-рэвны! Царская граб-ница. Кара-левская. И твая мумия — там, внутри. Вакруг башни будут днем и ночью га-реть аг-ни. Туда будут стэ-каться луди са всэго света. Народ к тебе пай-дет, па-те-чет широкай рэкой! Всэ будут, да, будут пав-тарять твае имя! Ленин! Всэгда живой! Ленин, вождь всэх на-родав зэмли! Разве я нэхарашо придумал?!

— Вот-вот, — еле выговорил вождь.

— Вот-вот! Вэрна гава-ришь!

Потолок треснул и разошелся, раздался вширь, как это часто бывало, из твердого потолка сделавшись мягким, потом прозрачным, потом бездонным пространством; пространство это все расширялось, расходилось в разные стороны, нежно и торжествующе, взгляд мог легко пронзить его, пронизать до дна, таким оно прозрачным было, а дна все не было и не могло быть, потому что это уже было не пространство, а время. <...>

...Он, упираясь левою рукой в матрац, с трудом сел в кровати.

Спустил ноги на пол. Левую ногу ожег холод. Правая, как всегда, не чувствовала ничего.

Хотел встать, а вместо этого упал на колени. И завалился на бок.

Полз по полу, подтягиваясь на здоровом локте, волоча за собою правую руку и правую бесчувственную ногу.

Вот карандашный огрызок уже близко; он различает свинцовый блеск грифеля.

— Конференция...

Лежа на животе, тянул пальцы. Не дотягивался.

— Вот-вот...

Еще подволок тело вперед.

Сам себе снеговиком казался, что деревенские дети скатали недавно в парке; морковь вместо носа, руки — черные сухие ветки.

Дотянулся. Схватил.

Теперь поползти назад, к кровати.

Почему он вдруг стал такой слабый? Он же недавно с машинисткой, с этою, с черноволосой, у окна в зиму — вальс танцевал. Она его вела, как мужчина — девушку, а он наступал ей на ногу здоровой ногой и посмеивался одним углом рта.

Вот и кровать. Как он встанет? Как на нее взберется? Легче на лошадь взобраться; на слона в зоосаде. А не надо никуда взбираться. Вот так, взять зубами бумажную рвань. Бросить на пол. Карандаш взять в левую руку. Крепко сжать пальцы. Жена так старательно учила его писать левой рукой. И вот он научился.

Он писал медленно, мучительно, маленький карандашный огрызок то и дело выпадал из его пальцев, откатывался прочь, и он его ловил ладонью, как бабочку. Лежа на животе, писал, и язык сам высовывался у него изо рта, и не хватало воздуха, и не хватало любви.

ГАВРИЛУШКА Я ОТРАВЛЕН
ВЫЗОВИ НЕМЕДЛЕННО НАДЮ
СКАЖИ ТРОЦКОВУ
СКАЖИ ВСЕМ КОМУ МОЖЕШЬ

Рука не могла больше выводить буквы. Пальцы разжались, карандаш выпал и лежал рядом с ним.

Он уже был ему не нужен.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

<...>

Мужик опять уложил его. Принакрыл теплым одеялом. Еще и пледом укрыл, плед со всех сторон заботливо подоткнул. Больной слышал голос мужика; голос этот мешался с трезвоном телефонного аппарата вдали, голоса издали сплетались с ближними голосами, так говорили с ним люди, что вываливались из-под земли; он не разбирал слова, он и без слов понимал, что его — проклинаяют.

Разве это справедливо, беззвучно кричал он им всем, тысячам, миллионам, разве это достойно? это недостойно истинных коммунистов! и тут же опоминался, соображая, что народ — это никакие не коммунисты, что коммунисты — это просто власть, а те, кто под властью, у них нет ни голосов, ни разума, ни воли, они скоты; нет, они земля, которую топчем; и не так даже, нет, — они просто воздух над землей, и мусор времени, и забвение. Люди идут по улицам, они катят перед собой на громадном грузовике громадный серп и громадный молот. Таким серпом — время жать! А таким молотом — страны крушить! Обросли защитным льдом? Напрялили железные доспехи?! Сколько там у вас бомб, сколько танков, сколько лошадей и пулеметов? Нам уже наплевать! У нас серп и молот! Мы срежем вас под корень. Разобьем в пыль!

Сквозь летящие черные фигуры, сквозь тесные теплые тела, пахнущие гнилью и черноземом, просвечивало лицо жены. Наденька! Уйди. Наденька, я хочу побыть один! Хорошо, Володичка, поспи. Но мы следим за тобой. Мы, кто это мы?! Чужие груди, ноги, спины налегали на него, погребали его под собой. Он отбивался. Задыхался. Сквозь рушащиеся с громадного грузовика живые бревна просовывались женские руки. Маняша! Успокойся, брат, успокойся. Мы тут, мы с тобой. Выпей капли. Какие горькие капли! Он набрал полный рот слюны. Плюнул в лицо Маняше сплошной горечью. Она утерла лицо и улыбнулась.

За Маняшиной спиной возник мужик. В распыленных руках он держал красное полотнище. На алом сатине было намалевано: ЗАВОДЫ ТРУДЯЩИМСЯ. Мужик задирает голову и широко открывал рот. Вождь прислушивался; а где крик? А и нету крика. Только рот один открытый.

Рядом с мужиком появился другой мужик и тоже в широко расставленных руках держал, крепко вцепившись, полотно, только уже зеленое. На полотне были опять же нарисованы буквы. Он силился прочесть. Глаза слезились. Буквы плыли и уплывали. Наконец глаза осилили труд, и он понял слова. ЗЕМЛЯ КРЕСТЬЯНАМ. Ах ты, как хорошо!

Но ведь и крестьяне, и рабочие — в их власти! Они — под ними! Под большевиками! Люди из народа несли перед ним плакаты, и он, читая надписи на них, сначала радовался, а потом стал горевать.

Большевики ли все эти люди? Нет. Они просто люди. А что если сделать их всех большевиками? Тогда и впрямь большевики будут народ, а народ — большевики. Проще некуда! Тогда все, до пылинки и ростка из-под земли, будет и впрямь принадлежать власти.

И спорить будет не о чем.

«Меня славить надо, восславлять, а не проклинать!» — хотел он крикнуть всем этим голосам, что невнятно гудели справа, слева, сверху и снизу, — но тут появился из мрака еще человек; он нес красный картонный квадрат, на красном квадрате опять белели снеговые буквы. Метель, и темнеет рано! Надо читать слова, и заставляют вслух, а язык во рту не шевелится. Он, кривясь, прочитал по слогам: «КТО БЫЛ НИЧЕМ, ТОТ СТА-НЕТ ВСЕМ». Черный дым из высоченных, до неба, заводских труб валил за спиной того, кто нес отчаянный плакат. Ленин пытался кивать, подтверждая: да, да, кто был ничем, тот станет всем! Уже стал! Или еще нет? Черный дым заволок красный квадрат. Потом заволок его лысую голову. Он понял: голова мерзнет. Он просил Маняшу: пожалуйста, надень на меня вязаный колпак! Ты же спишь в шерстяном колпаке, я же знаю, подари мне его!

А она смеялась, седая, и слезы текли, и она мотала головою, плача: нет, Володя, нет, ты будешь в колпаке смешон, разве ты старосветский помещик?

А он бормотал: да, я помещик, я же в усадьбе теперь живу!

Будто чья-то сильная гигантская рука держала его на ладони и относила все дальше от спальни, от белоколонного дома, от парка и голых зимних веток и вот уже приближала к голой площади и голому дворцу на берегу большой сильной реки, выкрашенному в травяной, весело-зеленый цвет. В красный выкрасить дворец! Нет дворца! Есть памятник проклятому царизму! Все экспроприровано: и картины, и мебель, и утварь! Все царские яхонты и брильянты — в Гохране! Заперты на замки надежно. Колчак утопил царское золотишко, но мы его все равно найдем.

Идут матросы, винтовки на плечах. Лица грязные, зубы белые. Мотаются красные стяги над домами, поперек улиц. Люди сбиваются в кучи, застывают, боятся; текут рекой. Мальчик в валенках держит в руках жар-птицу. Это синий одичалый павлин из зоосада. Зоосад разрушили, звери воют от голода, и им некуда бежать. Посреди города, по мостовой, бредет мужик с плугом, белая лошаденка плуг тащит, мужик пытается булыжники вспахать. Матрос в белых штанах орет: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ!» У матроса в руках знамя. Он внезапно вырастает выше домов, идет над крышами, переступает через дымящие трубы и перила мостов, перешагивает через черную быструю реку, выше вздымает знамя, деревья ветер клонит у его белых снежных брючин, как сухую траву.

Черный автомобиль, набитый вооруженными людьми, с грохотом мчит по набережной. В авто — люди. Они скалятся, сквернословят, в руках у них ружья и знамена. Черные колеса быстро вращаются, и Ленин пытается взглянуть в лица, но мотор едет слишком быстро.

Так и время свое не уловишь! Промчится!

Какие красные дымы над домами! Что взорвали? Город? А, пускай! Революции нужна пища. Она голодна, ее надо накормить. Под плакатами, что выше домов и дворцов, выше труб полумертвых заводов, идет люд. Люди, вы сами рисовали эти плакаты! Вы сходите на землю прямо с них! Как вас сосчитать? Идите в цеха! Становитесь к станкам! Вы сами куете себе ваше время. А я просто показал вам, что делать надо. Смерть угнетателей! Вас угнетали веками! Но теперь вы свободны! Все! Свободны!

И тут вождь, на миг обернувшись, увидел: из подворотни выходят трое. Как они живы остались? А ведь живы! И еще поживут! Он думал, они уже умерли, убиты. Умирать пора! Поп в рясе, с крестом шире пуза; городской с шашкой; кулак, наглый и сытый, с плеткой в руке — батраков стегать. А вон и четвертый семенит, толстяк, в цилиндре! Банкир, по всему видать, и галстук-бабочка! Рубашечка, брегет, золотая цепка из кармана жилетки свисает, все путем!

Он выбросил в направлении их всех руку, оскалил зубы, как волк, и даже, кажется, зарычал: «Взять! Расстрелять!» Но никто не бежал к проклятой контре. Гигант шел над городом мимо. Под огромные ноги себе не смотрел. Мелкий люд черными волнами катился по улицам, запруживал площади. Шестая годовщина Октября потрясла мир. Они все предрекали нам скорую гибель, а мы, гляди-ка, держимся! И удержимся! Не свалишь нас! Он подбежал к попу и стал срывать крест у него с груди. Крест висел на крепкой цепи. Поп орал, морщился, отбивался. Наконец одно из звеньев лопнуло, и крест полетел в грязь, и Ленин доволен был: крест, это символ старого подлого мира, покончено с ним.

Городовой не успел вынуть шашку. Упал, обливаясь кровью. Ленин кричал радостно: «Кто стрелял?! Орден тому!» Банкир в полосатой рубаше потерял в давке цилиндр. У банкира голова оказалась лысая, как у него. Он смотрел на банкира, а чудилось ему, смотрел в зеркало. Они были страшно похожи, и он засмеялся. Ничего не оставалось делать, как смеяться. Толстый круглый банкир упал на бок, дрыгал в ненастной тьме короткими ножонками. На него наступили. Его раздавили. Как клопа. Брызнула темная кровь. Люди подходили и окунали в кровь, разлившуюся по булыжной мостовой, грязные знамена и носовые платки. Махали красными тряпками. Тьма из серой и черной становилась бешеной и красной. Толпа катилась мимо, гудела, шелестела, метель взвивалась над толпой, не белая — красная. Красный снег, чудо какое! У нас и снег пойдет красный. Он замахнулся на кулака кулаком. Ударил. Но кулак словно ушел в вату; и кулак смеялся над ним. Беззубый, зубы повыбили. Грудь перевязана: стреляли. Плохо стреляли! Не застрелили!

Теперь, в революцию, надо стрелять и стрелять бесконечно. Расстреливать толпами. Народ надо держать в черном теле, прав Иосиф. Чуть дашь слабинку — восстанут. И что? Новые плакаты будут рисовать? Да! Новые. КТО БЫЛ ВСЕМ, ТОТ СТАНЕТ НИЧЕМ!

Колонны и знамена! Внесите в усадьбу знамена! Почистите к годовщине революции колонны! На каждой колонне нарисуйте красной краской нас. У кого сейчас власть. Матроса в бушлате. Солдата с винтовкой. Мужика с вилами. Бабу с серпом. Рабочего с молотом. И меня, меня забыли! Меня — с улыбкой во весь рот — в парадном костюме — Надя недавно локти заштопала — с блестящей под солнцем и дождем лысиной — при галстуке — в начищенных черных, мордастых башмаках — с высоко вздетым кулаком: ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

<...>

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Крупская, переваливаясь, в белом балахоне своем вбежала в спальню мужа.

Она, сидя у себя в комнате, услышала крик бегущего по коридору Епифана, и сразу все поняла, и выбежала в коридор; и навстречу ей по коридору бежала Маняша, и Маняше тоже отчего-то ничего не надо было объяснять; почему-то все всё знали, что происходит.

Жена вбежала к Ленину первой, так и должно было быть. Нет! Не первой! В углу спальни стояла, вжавшись в стену, эта, молодая. Что делает здесь секретарша? Да все что угодно: ее мог попросить присмотреть за вождем любой врач, любая прислуга. Евдокия на кухне, готовит ужин. Эта, воровка, зачем она опять здесь?

Думать было уже некогда. Надо было что-то важное делать, и делать быстро.

А еще важнее было делать видимость важного дела; так всегда бывает, когда в воздухе явственно пахнет обреченностью, а люди при этом изо всех сил делают вид, что все устроится, что все поправимо и надо только приложить правильные усилия, чтобы все выправить и поправить. Чтобы все пошло так, как оно шло раньше: без изменений.

Но изменения наступали помимо людской воли, и люди втайне гневались на это, а наружно старались сохранить спокойствие и выдержку; некрасиво было показывать друг другу отчаяние и смятение.

Крупская сжала руки перед грудью, стоя у кровати Ленина.

— Ах, Боже мой, — помянула она убитого Бога. — Володя! Володя! Вы слышите, — она обвела глазами всех, кто набился в комнату, — как он дышит?

За нею стояли: Маняша, молодая секретарша, мужик этот заботливый и проворный, Епифан, из-за него уже высовывался его помощничек, мальчишка Ванька, еще вошли и переминались с ноги на ногу охранники, за ними виднелось озабоченное лицо прибежавшей с кухни Евдокии. Все эти люди молчали и ждали.

Чего они ждали? Когда их попросят помочь? Что-то немедленно сделать для вождя, да так ловко, что ему внезапно полегчает и он откроет глаза и задышит уже легко, успокоенно, а все вокруг переглянутся обрадованно и засмеются громко, в голос?

Нет; никто этого всего не ждал. Ждали — плохого. Все насторожились — так на охоте настораживается и зверь, и охотник. Охотник слушает лес и зверя. А зверь слушает свою смерть.

Лицо Крупской все, разом, поплыло вниз, будто оно было блинное тесто, и его, слишком жидкое, медленно выливали из черпака на раскаленную сковородку.

— Доктора... доктора сюда, быстро, — сказала жена вождя, задыхаясь.

И крикнула слабо, горько:

— Кто дежурит?!

— Доктор Ферстер, — одними губами сказала Маняша.

— Так что стоишь, ждешь? Беги!

Но уже несся впереди Маняши, скользя лаптями на гладком паркете, мальчишка.

— Дохтура требуют! Дохтура!

Доктор Отфрид Ферстер уже шел по коридору большими шагами, и полы халата развевались, и он поправлял на носу очки с круглыми маленькими стеклами; стекла блестели слишком остро, за резким блеском не видно было глаз, и казалось, доктор шел в сверкающей карнавальной маске. Он был коротко стрижен, как солдат. Вошел в спальню, а Крупская смущенно делала ему странные жесты. Она когда-то хорошо говорила по-немецки. Маркса без перевода читала. А сейчас все забыла. Вперед шагнула Маняша. Заправила за уши седые волосы.

— Herr Doktor, der Patient ist schlechter geworden. Ergreifen Sie Maßnahmen!²

— Ach, — сухо произнес врач, — nur, bitte, keine Panik. Auch wenn die Sache besonders schlimm, zu akzeptieren, die Unvermeidlichkeit³.

— Что он говорит, что?

Лицо Крупской перекосилось страдальчески, она закусила губу.

² — Доктор, больному стало хуже. Примите меры! (нем.).

³ — Только, пожалуйста, никакой паники. Если дела пойдут хуже, приготовьтесь к неизбежному (нем.).

— Ничего особенного, — Маняша нашла и сжала ее руку. — Говорит, чтобы мы были готовы ко всему.

— Я так и знала!

— Евдокия, поставь сюда ширму... пусть доктор сюда сядет, за ширму...

Ферстер воззрился изумленно.

— Was ist das? Warum?⁴

— Patient seit einiger Zeit Angst vor Ärzten... und ihm, und Sie werden ruhiger...⁵

— Aber wie ich sehe mich um ihn?⁶

Маняша прерывисто вздохнула, как дитя после плача.

— Und Sie nur hören, wie er atmet...⁷

Ферстер пожал плечами и сел на пододвинутый ему Епифаном стул. В спальне наступила тишина.

Больной хрипел.

— Ich muss den Puls fühlen⁸, — недовольно сказал врач.

Маняша чуть подвинула ширму.

— So... Steck die Hand...⁹

Ферстер, пожал плечами, вслепую нащупал руку вождя, щупал пульс, смотрел на карманные часы. Вслух, тихо и сухо, считал:

— Eins... zwei... drei... vier...¹⁰

А потом громко, так, чтобы слышал больной, сказал:

— Sie fühlen sich besser! Ja, ja, besser! Sie atmen gleichmäßig und ruhig! Das Herz schlägt genau!¹¹

Крупская стояла перед кроватью вождя и держала его за руку.

И Надя, прямо стоя в углу комнаты на своих вечно высоких каблуках, глядела, как Крупская держит и сжимает его руку.

И ее рука стала теплая, горячая. В ней толчками билась кровь.

Это ее сердце работало ровно и спокойно. Ее сердце.

Дыхание выровнялось. Хрипы исчезли. Глаза были закрыты. Веки чуть вздрагивали. Спал Ленин или бодрствовал, не знал никто. Все смотрели, как он лежит и дышит. Доктор Ферстер поднялся со стула и вышел из-за ширмы. Большими, спортивными шагами вышел вон из спальни.

— Почему тут пахнет грибами? — неслышно спросила Крупская. Ее губы стали бледно-синего цвета. И ногти тоже.

— Евдокия, ты приносила сюда еду? — повернулась Маняша к прислуге.

— Нетушки... не знаю я ничегошеньки...

Слезой звенел ее голос.

Надя подала голос, как собака, из угла.

— Доктор Волков приносил.

<...>

⁴ — Что это? Для чего? (нем.).

⁵ — Больной боится лечения... и ему, и вам будет спокойнее... (нем.).

⁶ — Но как же я буду наблюдать его? (нем.).

⁷ — Вы только послушаете, как он дышит... (нем.).

⁸ — Я должен пощупать пульс (нем.).

⁹ — Вот так... берите руку... (нем.).

¹⁰ — Раз... два... три... четыре... (нем.).

¹¹ — Вам лучше! Слушайте, лучше! Вы дышите ровно и спокойно! Сердце бьется ровно! (нем.).

* * *

Хозяин умирал, и мужику хотелось услужить ему более, чем когда-либо.

Мужик знал, что такое последние минуты человека; при нем не раз умирали люди в его деревне, и старые и малые, и он привык видеть смерть, какая она есть; она приходила и забирала чужих, забирала его родных, за ним еще не приходила, и он понимал так: когда она захочет прийти — он это почувствует, поймет. Но пока она оставила его в покое, хоть года Епифана были большие, он был еще слишком силен, даже чересчур для его возраста, однажды на кухне стряпуха Евдокия попросила подсадить ее повыше, к полке, где стоял нужный ей мешок с мукой, мужик поднял Евдокию одной рукой, подвел ей ладонь под зад и легко, как елочную игрушку, поднял, у нее аж дух зашелся. Она сняла с полки мешок с мукой, Епифан опустил ее на пол, и она нервно приглаживала волосы, краснела и долго хихикала: «Охальник!»

Знал Епифан все про старуху-смерть и тут видел: пришла она за красным вождем, пришла и смотрит ему прямо в лицо. А Епифан наблюдал смерть с затылка. Она хитро подбиралась к кровати Ленина, катала его по матрацу, выкручивала ему руки, поднимала в судороге в коленях и тут же вытягивала и выгибала ноги, а люди вокруг сначала ловили его, мечущегося по кровати, потом стояли молча и ничего не могли сделать, только смотреть и плакать.

Мужик сперва, как всегда, стоял у двери и ждал распоряжений: куда пошлют, что заставят принести или унести. Они все тут всё одно, как и раньше, были господа, и господ надо было слушать и слушаться. Но Ленин был для мужика особенным человеком. Он не просто ему служил, помогал — он вроде как был ему отцом, и в то же самое время был и его маленьким сыном, меньше озорного Ванятки, что тут, в усадьбе, к мужику прибился; и, как отец, мужик хотел его наставлять и учить, и строгим быть с ним, и заботиться о нем, укрывать его одеялом и промокать ему мокрое от мучительного пота лицо тонкой полотняной тряпицей; и, как сын, он хотел прижиматься к нему, головою к его груди, и что-то больное, тайное выплакать ему, и чтобы Ленин, отец, его утешил.

Человеку нужно утешение! Не казнь ему нужна, не наказание, даже закоренелому злодею и преступнику, а утешение, и слезы над ним, и теплые, в слезах, поцелуи. Ленин умирал, и мужик опять чувствовал себя вместе и отцом, и сыном ему. Это было больно, так чувствовать, и надо было найти выход этой боли, чтобы она ушла. Он будто брал на себя эту его боль, что крутила Ленина в судорогах, и судороги отпускали его лишь на миг, все мышцы распаленного жаром тела свились в один проволочный, стальной клубок, и не распутать уже было его, только наложить руки, прижать дергающееся потное тело к кровати и так держать.

Епифан и хотел так сделать.

Он желал, как в бурю снежную, вождя от метели смерти — защитить: лечь на него и закрыть его от налетающей, воющей гибели. И правда, в спальне поднималась метель. Вились в воздухе белые простыни. Срывались со стульев холщовые чехлы. Воздух сделался туманным, непроглядным, и с улицы метель ворвалась в дом, разбив белыми кулаками непрочные оконные стекла. Что такое человеческое жилье перед ужасом природы? Природа в одночасье рассердится и смахнет с земли людской дом, как крошки со стола. И крошки потонут в снегу, и никакие птицы их не склюют, и никакие звери не сожрут. Никому не нужны обломки человеческой жизни, кроме как самому человеку, для памяти. И то: память коротка, через сто лет никто и не вспомнит, что была тут такая старая усадьба и в ней жил человек, перевернувший весь старый мир и русский уклад, бросивший всю русскую землю в топку и переплавку. Что выйдет из печи? Головни мерцающие — или крепкая конструкция, железная башня?

Россия достигнет железной головой до неба, этого так Ленин хотел, а со временем и все захотят, твердил Епифан себе, но тут перед ними всеми по постели метался просто маленький умирающий человек, не великан и не владыка, а тот, кто принимал последнюю муку. Раньше к ложу умирающего подходил батюшка, к умирающим в деревне старухам всегда приглашали батюшку. «Завсегда приглашали», — вышептал Епифан, жалостливо сморщившись, наблюдая, как хозяин катается по кровати и сбивает простыни в сметанные комки. Ему надоело это наблюдать, и он шагнул вперед.

— Ты куда, Епифан?

Он поднял отчаянные глаза на Крупскую.

— Барыня... это, товарищ... дозвоьте...

Он показал рукой на умирающего, не в силах досказать то, что хотел сказать.

Крупская смотрела на него и не видела его.

Он сделал еще шаг к кровати.

Его никто не останавливал.

Защитить. Лечь на него, укрыть всем телом своим. Прижаться, охватить руками, трудно ему в одиночку-то смерть бороться. И ведь сражается. У человека другого пути нет. Помощи ему надо сейчас, помощи. Закрыть, ведь смерть такая холодная и тяжелая, надо заслонить его от нее, от этой вездесущей метели, метель лезет в рот, в нос, забивает уши, замечает его запрокинутое лицо. Сейчас всего заметет, и не надо позволить ей это сделать так быстро, как она хочет. А может, если мужик обнимет его, и прижмется к нему, и надавит на него, закрывая голову его голую своей патлатой головой, укрывая ему грудь — своей грудью, ноги — своими ногами, и руки раскрывает и укроет его широкими, разлапистыми руками, как еловыми лапами — маленького зайчонка на снегу, так он ему немного и отсрочит смерть, и согреет, и утешит, и не так он уже будет смерти бояться, он не будет видеть ее оскал, а будет лежать, угретый и успокоенный, от метели — хоть на миг — спасенный.

Мужик шагнул еще ближе. Оказался у самой кровати. Ленина подбросила очередная судорога. Метель выла над ним и крутилась, и он отворачивал от метели лицо и дрожал, а снег все лепил, все застилал ему лицо, глаза, подушку, склянки с лекарствами. Больной вздергивал руки, пытаясь оттолкнуть густую, дикую метель. Он замерзал. Снег лепил и залеплял ему кричащий рот. Забивал рот белым холодным кляпом, и уже нельзя было крикнуть, чтобы услышали.

Мужик решил. Люди, что стояли вокруг кровати, перестали быть для него. Он остался один, и Ленин лежал перед ним один, и Ленина заметала метель. Мужик наклонился над вождем, он дышал ему в лицо, и это дыхание уже грело его. Он осторожно обнял его, грудью закрыл его от метели, а она уже распоясалась, била везде, где можно было ударить, била и вопила, громче, чем могли кричать и плакать над своим покойником безутешные люди. Теперь, когда мужик обнял хозяина, метель била ему в затылок и в спину. Била больно, впивалась, как зверь зубами. Епифану было безразлично. Пусть бы хоть загрызла сейчас. Сейчас он сделал, что надо было сделать верному слуге для своего любимого, родного хозяина — заслонить, спасти.

Спасти! Вот что главное на земле и между людьми. Спасти, вот чем вся штука жить! Смерть не страшна, если кто-то тебя спасает. Пусть в последний момент, на самом краю, когда и ты, и все другие понимают, что ты обречен и уже нет обратного пути, не повернуть, не вернуться туда, откуда начался отсчет твоего времени. Этот момент, если рядом тот, кто спасает тебя, может растянуться на целые века. Ты не будешь знать, века это или миг. Спасти! Вот в чем весь секрет!

Ради спасения друг друга люди живут на земле, понял Епифан, крепко обнимая вождя и закрывая его от метели своим теплым, старым и сильным телом. «Я спасу тебя, батюшка, я спасу», — невнятно шептал он, все тяжелее наваливаясь на умираю-

щего и все больше понимая, что он Ленина не спасет, и тут все перевернулось, и он почуял: да ведь это не он Ленина спасает и укрывает, а Ленин — его: Ленин дает ему понять и ощутить высшее, самое желанное на свете — помощь и любовь, и они и есть его, Епифана, спасение. Как это в церкви на исповеди раньше говорили: грешен, батюшка! «Грешен, батюшка!» — бормотал Епифан непонятно кому, то ли Ленину, то ли себе, а может, Богу, которого убили и про которого все уже забыли, так быстро, не успели оглянуться.

Лечь теснее, укрыть собою, своей жизнью, укройся, батюшка Ленин, не землей, а мною, а всеми человеками живыми, мы все тебя любим, да, мы полюбили все тебя, потому что ты за мужиков, ты хозяин самый лучший, хозяин всей земли нашей, хозяин такой добрый, справедливый, каких не бывало, пусть ты кровушки много пролил, да оно все на пользу, пусть все так и будет, как ты захотел, ведь у тебя такая головушка умная, укрою тебя, из рук своих шалаш сделаю, над тобой возведу, из тела своего сделаю палатку, и там, внутри, спасешься ты от лютой метели. Укрыть, помолиться: авось и жив будешь.

Он не знал, сколько прошло времени. Минута, а может, век. Его сорвали с кровати и оторвали от хозяина. Толкали прочь. «Не дали, не дали», — шептал мужик, отталкиваемый прочь от кровати, где корчился больной, его гнали вон из спальни, выгоняли, а что он сделал плохого? Ничего плохого он не сделал. Он только хотел спасти. Спасти. Уберечь.

Его крепкое жилистое тело еще помнило эти судороги, дерганья, эту колючую метельную крупку, вонзающуюся ему во взмокшую под рубахой спину, в плечи и под лопатки. Он опять стоял возле двери, мокрый, стыдный, руки его дрожали, он уберегал вождя от смерти и вот не уберег, значит, не дано ему было. А то вот в соседней деревне, в Федюкове, мальчонка умирал, его ядовитая змея в лесу укусила, так метался, и лежал на лавке весь аж малиновый, с черными губами, и дышал, будто ножом скребли по чугунку, а бабу одну в избу пригласили — так она легла на мальчонку, его крепко обняла и что-то там такое над ним наговаривала, болезнь заговаривала. И смерть отошла, силу той бабы признала. Смерть, она ведь живая. Если ее испугать или заговорить, она и отойдет. Эх! слабый он! не получилось у него ничего!

Он стоял около двери, впору выйти и сойти вниз по лестнице, и уйти в парк, в древесную чащобу, и там сесть в сугроб, осесть, чтобы подкосились ноги да уж и не выпрямились, — и уткнуть рожу в шершавые старые ладони, и согнуть натруженную спину, и рыдать, рыдать вволюшку, всласть, о нем, об этом человеке, о хозяине своем, и о том, что он, мужик, не сумел осилить его смерть. Не поборол ее, как медведя в чаще. Нет у него на нее рогатины. Нет ножа вострого. Не наточил.

А то бы снял эту белую шкуру метели. Снял, высушил и на полу паркетном в усадьбе разложил.

И чтобы вождь на ней спал-отдыхал. Мыслил, книжки свои писал умные и речи.

А потом в Москву бы его свезли, он бы эти речи умные с балкона говорил, с трибуны, с кузова грузовика. А народ бы валом валил, слушал. Теперь этого всего никогда больше не будет.

Епифан тихо вышел за дверь. Он слышал стоны хозяина. Слышал, как скрипит кровать, когда больного выкручивают судороги.

Мужик прикрыл за собою дверь, прислонился к стене и вытянул перед собой вперед руки. Смотрел на свои руки. Вот они, они обнимали Ленина. И за ним, за мужиком, придет смерть. Никто не знает, сегодня или завтра. Никто не знает часа своего, сказано в Писании. Убитый Бог так сказал. Теперь у нас новый Бог. Ленин его зовут. Он святой. Надо плакать о нем, как о святом, и молиться о нем.

И мужик заплакал о нем — не как о святом, а как о рабе Божиим Владимире, простым смертным, и вот помирает, и отойдет сейчас.

* * *

Он слышал над собой крики: морфий, морфий! Морфий введите! Судорога справа навалилась, и мышцы отвердели так, что стали железными. Кто-то пытался согнуть его ногу в колене. Сустав тоже стал железным. Потом боль когтистой лапой схватила левую половину тела, и его швырнуло на кровати вправо, влево, он подкатился, корчась, к краю кровати и чуть не упал на пол. Его поймали, уложили и укрыли одеялом. Он сбросил одеяло. Ему показалось, он кричит: «Жарко! Жарко!» Ему и правда стало очень жарко. А потом очень холодно. Зубы стучали. Он сам себе казался зверем, замерзающим в лесу волком, и волк поджимал хвост под себя и переступал железными лапами на снегу, пытаясь размяться, разогнать кровь. Согреться. Голоса над ним ахали, разлетались, сшибались. Потом сквозь густоту чужих дыханий пробился тонкий плач. Это снова плакал зверь: зверек, маленький, хилый. Он замерзал в земляной норе, под слоями железного снега.

Его тело стало легким, очень легким. Он, вылетая из себя и опасно взмывая над собой, краем разума видел: он худ, слишком худ и слаб, его конвульсии ломают, как сухую соломинку. Он опять стал кататься по постели, выгибать спину. Ноги его вытягивались и дрожали. Кто-то большой, сильный держал его за руки, а кто-то слабый горестно кричал над ним.

Потом его опять чьи-то сильные, стальные руки вознесли на грузовик. Толпа нигде не исчезла, и грузовик, обтянутый красным сатином, не исчез; и так же толпа несла его на себе, только теперь его, беспомощного, грубо забросили в кузов, как мешок с отрубями, а он, голый и холодный, лежал на досках и встать не мог. Встать во весь рост! Это самое важное в жизни. И вот он валяется на дне машины, что везет его к всеобщему счастью.

Встать, шептал он себе, встать, встать! — а из его рта вырывался только короткий стон. Конвульсии превратились в сплошную дрожь. Тело дрожало, как дрожит вода в реке под ветром.

Его дыхание стало рваться. Это ветер рвал в клочья красный сатин. Он делал вдох, а потом вдохнуть не мог и так лежал; тело его тоже рвалось, разрывалось изнутри. Жар и судороги. Он порвется надвое, как флаг. Голоса, что звучали над ним, удалялись. Грузовик качался над плотной черной толпой. Люди на плечах несли его гроб. Люди при жизни поклонялись ему.

Жизнь, где ты, жизнь, хотел он спросить жизнь, и тут его шатнуло вбок и вниз, грузовик перевернулся, кузов наклонился, и он стал вываливаться из кузова, падать, но на холодную землю не упал — его катили, перекачивали из рук в руки чужие люди, народ его принял, мял, вертел, передавал из рук в руки, как факел, как горящий ком осеннего перекасти-поля, и он катился в вышине над народом, катился и горел, откатывался прочь от самого себя, и он провожал себя глазами, и он бил вслед себе в свое железное сердце, как в обломок ржавого рельса, в набат, и он больше не ловил воздух бессильным ртом, а выпустил его из себя, вытолкнул: ветер, живи, а я сейчас умру, вот сейчас.

* * *

Надя строго и прямо стояла в углу.

Она провинилась, нашкодила, и вот ее поставили в угол.

Из угла все видно. Все слышно.

Что случилось? А ничего не случилось.

Здесь говорят о смерти, здесь плачут, но это все неправда. Все несерьезно.

Серьезно только то, что она стоит и смотрит, как Ленин спокойно лежит.

Он метался, мучился, и он уснул наконец.

Разве это плохо? Скажите, разве это плохо?

— Надежда Сергеевна, вам плохо? Сядьте. Вы весь день на ногах! Где вы были весь день?

— Я здесь была.

— Неужели здесь?! Мы вас не видели! Никто не видел! Скорее! Накапайте Надежде Сергеевне сердечных капель! Вон на столе пузырек серебряный!

— Сколько времени?

— Шесть часов вечера!

— Неправда. Шесть часов пятьдесят минут! Без десяти семь!

— Остановите часы. Остановите! Вождь умер!

Надя повторила это про себя: «Вождь умер», — и тут у нее ноги подогнулись, и она встала на колени в изножье кровати вождя.

И так стояла, смотря вперед перед собою и мало что сознавая.

Только то, что сейчас в Москве и во всем Подмосковье шесть часов пятьдесят минут пополудни. <...>

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

<...>

Громыхая по паркету сапогами, чуть переваливаясь с боку на бок, вошел в гостиную Сталин.

Все выпрямились перед ним.

Почему, отчего все знали, что он отныне — командир?

В Политбюро ЦК партии входили и другие люди.

И все они имели право на власть.

Так почему же тогда...

Надя не додумала. И никто не успел додумать.

Сталин застыл, выпрямился, как все, шевельнул пышными усами и негромко, но очень внятно сказал, и голос отдался во всех углах ярко освещенной гостиной:

— Вы-ражаю сабалезна-вание вда-ве па-койнаво и всэм друзьям и са-ратникам па-койного ва-ждя!

Выдержал паузу и так же торжественно продолжил:

— ЦэКа партии па-лучает са всэх ста-рон тэле-граммы! Народ просит ас-тавить тело Ленина нэ-тленным!

Крупская распахнула веки широко, ее глаза полезли из орбит.

— Как?.. что?.. что вы говорите, Иосиф?! Как это нетленным?!

Сталин сохранял спокойствие.

Как дорого ему это стоило, знала только Надя.

— Сliš-кам многа народу хочит пра-ститься с Ильичом! Мы нэ можем ас-тавить ево тело на много дней проста так! к примэру... где мы ево ас-тавим для пра-щания народа?.. к примэру, в Ка-лонном зале Дома Са-юзав! И па-том...

Крупская уже вперевалку шла к Сталину.

— Что — потом?! что — потом?!

Ее нижняя губа тряслась. Из выпученных глаз рекой лились слезы.

— А па-том, ува-жаемая, — он даже не счел нужным обратиться к вдове по имени-отчеству, — на-да будит думать о том, што весь мир — слышите, весь мир! — будит палом-ничать к бэс-смэртному телу Владимира Ильича! К бэс-смэртному, слышите! Мильены трудящихся са всёво света пай-дут, па-едут к нам в Мас-кву! К Ленину! На ево ма-гилу! И а-ни захатят па-кланицца нэ магиле! а наста-ящему Ильичу! Ево телу! Ему сама-му!

Крупская глядела на Сталина с ужасом.

— Я жи-лаю забальза-миравать труп ва-ждя!

— Труп... как вы можете так говорить мне... сейчас...

Крупская отвернулась от Сталина, медленно, белой холщовой гусыней, побрела к укутанному в холстину стулу, но не дошла до него — стала оседать, к ней подбежали Фотиева и Гляссер и подхватили ее, не дали упасть на пол.

— Слушайте всё! — Сталин возвысил голос. — Труп ва-ждя нэ можит быть па-гребен! Ленин нэ можит быть па-харонен, как всё пра-стые смэртные! Я, — спохватился, — мы всё ха-тим абес-смэртить Ильича па-наста-ящему! Наука сэйчас дэлает чудеса! Я связался уже с нашими луч-шими хими-ками. Нэ беспакойтесь, всё будит сдэ-лано в лучшем виде! Па пер-ваму разряду!

Он говорил, как банщик в Сандунах. Выхвалялся, прежде чем клиента березовым венником постегать.

Никто не смотрел друг на друга. Все опустили головы.

Крупская, сидя на стуле, спиной к Сталину, прокричала:

— Вы чудовище!

Все глядели себе под ноги.

— Скажите, уже аб-мыли тело? — строго спросил Сталин.

— Нет! — ясно и звонко ответила Надя.

Муж не смотрел на жену. Будто ее тут и не было.

— Так при-ступайте к эта-му русс-каму аб-ряду!

* * *

...Она, с другими женщинами и мужчинами, раздевала его. Была принесена большая лохань, в которой так недавно купали его, купали мужчины, но теперь обмыть тело предоставили женщинам, Евдокия сказала, что покойника обмывают обычно старые женщины, а помогают переворачивать мужчины. Они тут все были теперь старые. Сразу постарели на сто лет. Мужчины ловко поднимали тело, а женщины неуклюже, стыдясь, стаскивали с него тряпки. Она видела, как шевелятся губы усатой Гляссер; может быть, она молилась или уговаривала себя не бояться и не стыдиться. Они все тут молча упрасивали друг друга, уговаривали, что нет, не надо бояться и не надо стесняться, все это обычно, привычно, так делают все люди со всеми своими покойниками, но Надя ловила на лету его мотающуюся руку и чуть не отдергивала свою, она ждала тепла, а ее обжигал зимний холод, покойник уже остыл, так быстро, удивлялась она, прошло же так немного времени с мгновения смерти; она видела, как стаскивают с него брюки, потом теплое фланелевое исподнее белье, и она уже окунала губку в лохань, и теплая вода током ударяла ей между пальцев; она протягивала губку ловкой и умелой Евдокии, Евдокия, должно быть, успела пообмыть на своем веку разных родных и чужих покойников, так все она хорошо и правильно умела делать, она тут, пожалуй, была теперь главная. Евдокия хватала губку, а в руке почему-то оказывалась сухая чистая тряпка, и ее тоже надо было окунуть в теплую воду

и намылить, она не видела мыла, но чужая ладонь скользила, вырывалась из руки, как свободный голубь, и падало, и улетало; его ловили другие люди, а потом другие руки взбивали мыльную пену в лохани, пена разноцветно вспучивалась, делалась на множество ярких радужных икринок, чуть потрескивала — это мыльные икринки лопались, и надо было успеть. Везде и всегда надо было все успеть, особенно при мертвом — он уже прибыл к месту назначения, а живые все еще опаздывали, — и она окунала тряпицу в эмалированную лохань и отжимала, это она окунала ее в небо и отжимала слезами дождя, мужик же сказал ей, что все это природа, снеговые тучи неслись над ее черной молодой головой, седые тучи, это она уже была старуха и обмывала родного старика, и глаза привыкали к виду мертвых ключиц, и мертвых, торчащих из-под кожи ребер, и мертвых плеч, и мертвого кадыка на задранной шее, и, самое страшное, мертвых чресел, она все боялась туда посмотреть и все-таки смотрела, и глаза, став стеклянными и бесстрастными, не видели ничего стыдного и низменного, а видели просто несчастное тело, мертвое и тяжелое, отяжелевшее, висячее, как мертвый маятник в остановившихся часах, и все знали, что ход времен остановился навеки, и все не верили этому, и она правильно думала, что никогда не поверят, сколько бы времени ни прошло на земле с этой черной и белой зимней ночи, затерянной в лесах и полях, среди чужих смертей и чужих рождений. А может, он родился, спросила она себя умалишенно, может, этой мой ребенок, и я обмываю его, новорожденного, а он так еще и не закричал, он все медлит, не может набрать в грудь воздуха, и чтобы он не задохнулся, а скорее вдохнул земной воздух, надо побить его по щекам, так акушерки учили! Она подняла мокрую руку и, ужасаясь самой себе, шлепнула мертвеца по щеке, ее руку поймали и крепко сжали, и она тяжелым взглядом глядела и видела, как по белому восковому лицу ползут мелкие, узкие струйки мыльной воды. Жизнь надо было мыть, надо было мылить, и кто-то вскричал: смените воду! а кто-то застонал: нельзя, надо обмывать одной водой, — и она вдруг поняла, что стоит у стола в праздничном бархатном платье, муж заставлял ее надевать это платье, когда они собирались в театр, а на столе лежит голый человек, и она засмеялась сама над собой: это я в анатомическом театре, а это просто чужой покойник, или нет, это восковая фигура, ее нельзя резать, нельзя вскрывать, там внутренностей нет, один мягкий пахучий воск. И вдруг бархат на ней обратился в белый сатин, она стояла в белом халате, и она была врач, и в руке у нее зажат скальпель, и надо сделать единственный, точный разрез. Она закричала и выпустила мыло из рук, и оно скользило у трупа по голому животу и ускользало, падало между раздвинутых ног и падало со стола прямо в черную бездну, в седую метель, в красный снег. Она кричала: почему снег красный! почему красная вода! укройте его красным знаменем, ему же холодно! Но люди вокруг молчали и молча снова мылили губки и тряпки, и лилась меж стиснутых пальцев вода, лилась мертвому человеку на лицо, в подмышки, под ребра, на голые пятки. И сами, будто без помощи летающих плачущих рук, надевались на него одежды. Все одно и то же, что во все века: исподнее, брюки, нательная сорочка, выходная рубашка, галстук, пиджак. Галстук, зачем тут галстук, он же может им задушиться! И правда, товарищи, зачем одевать вождя в гражданское платье. Идет революция. Революция — это вечная война. Мы похороним вождя в подобающей одежде. Несите сюда френч! Какой френч? Военный френч, в шкапе в спальне висит, защитного цвета! Несите сюда и бритвенный прибор! И машинку для стрижки волос! Зачем машинку, не надо машинку! Никто не слушал уже ее криков. Люди делали свое мрачное, обыденное дело. Метель, как обычно зимою, тоскливо и густо мела за широким, величиною с белое поле, еще не разбитым окном.

<...>

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

<...>

В зале мороз, и на улице мороз. Крупская сидела не шелохнувшись. Калинина сменил в карауле Зиновьев. Зиновьева — Рыков. Рыкова — Буденный. Буденного — Каменев. Никто не спрашивал, где Троцкий. Сталин, еще в усадьбе, обронил: он поехал лечиться на юг. Все думали: Иосиф отбил ему телеграмму, чтобы скорей вернулся. Все надеялись. А потом и думать перестали.

В душах мороз, и над головами мороз. На улице минус сорок по Цельсию, в Колонном зале минус семь градусов. Бабы деревенские идут и кутают носы в платки. Сколько нищих! Нищий наш народ, откуда богатство?

Идут и идут, едут и едут отовсюду. Весь Советский Союз здесь. Голос звенит над залом: «Дорогие товарищи! Скорбь всего народа беспредельна! Президиум ЦИК постановил: гроб с телом дорогого вождя Союза Советских Социалистических Республик и всего мирового пролетариата, бессмертного Владимира Ильича Ленина сохранить в специальном склепе! Склеп будет доступен для посещения! Сооружен у Кремлевской стены! На Красной площади! Среди священных братских могил борцов Великой Октябрьской социалистической революции!»

Надя стоит и смотрит. Осталось лишь стоять и смотреть. Вдова сидит и глядит. Рыков, в толпе возле гроба, опустил голову. Сталин, не глядите на Сталина, он так тяжело смотрит, у него в глазах черные квадраты. Какие квадраты? Не пойти ли в ресторацию после этой ужасной церемонии? О чем вы, товарищ? Как у вас только язык повернулся? Это у меня мысль повернулась. Я еще хочу себя спасти; я хочу жить, есть, и пить, и тепло одеваться, и спать на мягком. Если у меня всего этого не будет, грош цена вашему социализму.

Глядите! Такого больше не увидите! Живой человек был вчера; и он умер; живой революционер, великий потрясатель основ всей жизни человеческой; и вот он на наших глазах превращается в монумент. В гипс, в бронзу. В красное знамя! На знамени — золотом вышит его лик! Златошвейки трудились!

Я дол-жен атай-ти. Мнэ надо. Больше нэ ма-гу тер-петь. Я же живой чи-лавек. Слушай, Алексей, я всю хара-шо придумал. Сна-чала будит такой, ну, знаешь, тар-жественный склеп. Дэре-вянный куб. Проста такой баль-шой куб из да-сок. Мы па-местим туда важ-дя. И народ пай-дет туда, па-валит валом. Фар-малин?! Есть вещества, гораздо более дэйственные. Я пад-ключил к пра-цессу Збарскаво. Он — знает, как надо.

Египет, Вавилон! Чем отличаются от нас? Вообще, чем нынешний человек отличается от прежнего? Ничем и никогда. Человек один и тот же всегда. Нет в нем изменений. Каждый помирает. Вот только этот, с огромным лбом, что лежит сейчас в обрамлении темных еловых веток, среди огромной молчащей, плачущей толпы, этот — не умрет. Как же не умрет, когда — уже умер! Нет. Вы не поняли, товарищ. Он и правда никогда больше не умрет. И наше дело, наше святое дело — сохранить его для будущих поколений. Будет цел он — будет цел и мир людей. Вы меня поняли?

Чушь! Бред! Как вы его сохраните?! Заспиртуете, как уродца из Кунсткамеры?! Целиком замените едким раствором его кровь, его лимфу и его мышцы?! Разымете на волокна, разрежете, начините известью и цементом, а потом опять сошьете?! Вы идете против природы! Против Бога!

А вы, товарищ, когда-нибудь видели Бога? Он вам что-нибудь такое говорил, себя защищая? Да человек, убивая другого человека, уже против Бога идет! А тут мы, наоборот, Ему, Богу вашему, хорошо делаем! Мы — его творение от тлена спасаем!

Кровь и лимфа. Ткани и органы. Ничего больше не бьется, не течет, не льется. Не болит. Он ушел в бытие без боли, в инобытие. А мы все здесь. И мы смотрим на него и, клянусь вам, завидуем ему. Он больше не увидит смертей. Трупов. Расстрелов. Повешений. Изможденных, с торчащими ребрами и вздутыми животами, голодных детей. Братьев, что в чистом поле палят из винтовок друг в друга. А мы увидим.

Более того: мы примем в этом участие.

А вы что, товарищ, в революцию — в уюте и покое отсидеться хотите?

Толпа шла и шла, люди шли в две колонны в Колонный зал, обтекали гроб, нельзя было долго стоять возле, нельзя было реветь в голос, и все же на пол время от времени падали те, кто терял сознание, валились на колени крестьянки и вопили, и этих вопленниц мрачно слушали люди, и вопли и плач отдавались под сводами зала; мальчик Иван стоял поближе к гробу, хоть его все время от гроба оттесняли, но он опять упрямо проталкивался сквозь чужие, укутанные в шубы и зипуны туловища, сквозь локти, валенки и сапоги к красному гробу и глядел на мертвеца, смутно соображая, что его все равно когда-нибудь унесут отсюда и закопают, и, значит, надо вволюшку насмотреться на него, ведь дядя Епифаша наказал насмотреться и за него тоже. Вот будет что рассказать в усадьбе, а потом в селе, думал он о себе горделиво и все глядел, глядел, хотя ему уже давно очень хотелось спать и есть.

Люди у гроба стояли одной большой неряшливой кучей, издали, из-под потолка, они казались пчелами на летке, копошащимися медленно и тяжело. Черные громадные пчелы, но издали все становится маленьким, и понимаешь, что в мире маленькое все, что нет ничего большого, а все по сравнению с необъятным небом и неохватной землей — жалкое, хилое, крохотное. Отсюда, из-под потолка, из-под желтого, золотого света чудовищной люстры, голова Ленина, его огромный белый лоб казались комком застывшего гипса; гипс отсвечивал мертвенно-голубым, так лунно светится в ночи свежий, только наметенный сугроб. Вокруг Дома Союзов, по всей Москве из земли торчали сугробы, торчали черными живыми палками люди, и по снегам, меж сугробов, по улицам и площадям были красными ягодами рассыпаны костры; люди, намерзнув, подходили и грели руки, присаживались на корточки, тянули тела и лица к живому огню, огонь был спасение, а они были жалкие и гибнущие. Все в белом и черном мире был холод, все была ночь и голодуха. И скорбь. И революция, она все никак не кончалась. <...>

* * *

Посреди Красной площади рабочие рыли могилу Ленину.

Могила эта представлялась всем сначала вместительным котлованом. Вокруг ямы постоянно жгли костры, так пытались оттаять почву, намертво скованную морозом. Но Сталин хотел поместить тело вождя не в яму. А в то, что должно было выстроиться над ямой.

В гробницу.

Сталин обдумывал предложение знаменитого еще до революции архитектора Щусева: возвести три объемных каменных куба; один покрупнее, и крыша должны быть ступенчатой, как у вавилонского зиккурата; два других куба поменьше, и в них устроить вход и выход. Так, чтобы народ входил в одни ворота, а выходил в другие.

Сталин приказал привезти на Красную площадь доски. Только из дерева за три дня можно построить гробницу. Камень подождет. Мрамор, гранит — это все потом. Потом!

Морозы сжимали белыми клещами тела людей. Рабочих распорядились обрядить в толстые полушубки и валенки. Дали им в руки ломы, кирки и лопаты. Сначала надо было разворошить, вскрыть, как каменную банку, булыжную мостовую, что помни-

ла князей и царей. Могила, гордились рабочие, мы копаем могилу Владимиру Ильичу! Они сами не понимали, что говорили. Особо хваставшихся вечером, при огнях костров, приходили и забирали. Они не возвращались.

На их место, охлопывая себя на морозе по-ямщицки рукавицами и топоча ногами в мощных валенках, играя в руках лопатами, приходили другие.

Мерзли руки, мерзли ноги. Рабочие плясали у костров на площади, чтобы согреться. Хлопали руками, и голицы на морозе звенели, будто жестяные. Красная Кремлевская стена скалилась красными зубьями. Руки леденели, твердели, ими, прежде живыми руками, можно было рубить дрова, как топорами. Рабочий падал на снег, на камни мостовой, приезжал мотор и увозил утратившего от холода разум, обмороженного человека. Взамен присылали другого.

Рабочие люди кричали бодрые слова другим людям, в военных формах, кто приезжал на Красную площадь на военных грузовиках и холодно и жестко спрашивал, как идет работа. «Как идет горькая наша работа? хорошо! хорошо идет! — кричали военным рабочие, — от горя стынем!» Одного старого рабочего спросил строгий солдат, видя, как старик дышит внутрь рукавицы, напуская изо рта в рукавицу тепло: «Что, задрог, отец? Холодно?» Рабочий мрачно глянул на солдата. «Да, холодно. Жмет мороз. Но на сердце еще холоднее». И снова взялся за крику, и размахнулся ею, ударил в камни, и от булыжников вверх, в лютую темень, зло полетели яркие, слепящие искры.

Отовсюду раздавался звон лопат и гулко разносился в звонком от мороза воздухе. Звенели о камень кирки. Звенели тяжелые ломы, вгрызаясь в лед и в землю. Земля под домами Москвы обратилась в вечную мерзлоту. Она промерзла, чудилось, до самого огненного ядра. Стала твердой, тверже железа и камня. Рабочие били землю ломками. Ломы сгибались и тупились, ударяя в промерзшую почву. Рабочие садились на корточки и плакали. Курили, согреваясь самокруткой. Держали сигарку в зубах, а над нею держали ладони, ладонями обнимали жалкий табачный огонек. А вокруг бились на морозе костры. Лисьи хвосты огня мотались в черной ночи.

Как ночевали на площади этой, в наспех разбитых палатках, при огне и буржуйках, мало кто помнил.

Ночью из палаток выволакивали за ноги замерзших насмерть.

Потом наступало утро, и надо было опять бить землю ломками и кирками.

И опять реветь от бессилия по-зверьи, по-детски плакать над ней.

Сталин ли приказал, рабочие ли сами додумались развести на Красной площади громадный, величиной с небо, костер? Несли и несли отовсюду, волокли, как покорные черные муравьи, на площадь доски и рейки, палки и слеги, старые телеги, брошенные извозчиками, и бревна от разломанного наспех сруба, — все шло в дело, и все тащилось и складывалось в центре площади. Огонь был разожжен. Занялось пламя, неистовое, как тысячи одновременных криков. Гул пламени был слышен за много кварталов от площади. Никто никогда не видел столь большого костра. Многие думали: загорится Кремль, возьмет и побежит огонь по стене, хотя это было бы страшным и безбожным чудом. Рабочие всерьез думали, что огонь растопит нежданную мерзлоту. А морозы, еще усиливаясь, белые ледяные зубы показывали, хохотали над нищими духом людьми.

Иван тоже тут сновал, между рабочими. Ему, как и всем, выдали тулуп, самый маленький тулупчик отыскали, и все же он был ему велик. И валенки ему были велики. Он таскал их на ногах, как гири, и жаловался бригадиру: ноги мерзнут, воздух в щель меж ногой и валенком свободно дует. А носков лишних, вязаных, не было. Ему разрешили опять надеть его валеночки-малютки, в них он и приехал в Москву. Он побежал вынуть их из укромного места, из кирпичной ниши в Кремлевской стене,

там кирпичи были кем-то ловко повытащены, у самой земли, и в кладке образовалось подобие потайной барсучьей норы. Отодвинул кирпич — а там нет ничего. Пустота. Стащили валенки. Ваня шмыгал носом, силился не плакать и только все повторял, громко, чтобы все рабочие слышали: «Да я же кирпичом заложил! Сам заложил! Сам!» Сам с усам, хмыкнул рабочий в волчьем зипуне, на голове у него вместо шапки была наверхена и перемотана проволокой старая дырявая стеганка, а другие тоже угреться хотят. Да ведь они вам всем малы, уже со слезами в голосе кричал Ваня. Ниче, смеялся бригадир, сдвигая ушанку на затылок, ноги вор себе топориком подровняет!

Ветер дышал холодом, раздувал дым костра-чудовища, дым стлался по земле седой кудрявой, вонючей поземкой. Напрасно бесился огонь. Не отогревалась земля. Не хотела принимать мертвеца.

«Лучше бы из золота был он сделан, тогда бы не хоронили», — шептал себе под нос Ванька, еле таская по площади ноги в огромных черных валенках. Из черной овцы валяли; втайне мальчик любовался ими, нравились они ему, и он думал: когда все тут окончится и Ленина закопают, валенки украду, себе возьму и в село привезу. Хвалиться ими сельчанам буду. Шутка ли сказать, на самих похоронах Ленина работал, и харч давали, и всю одежду!

У Сталина и у Политбюро уже не было времени на раздумья. Решать надо было быстро. Команды отдавать — еще быстрее. У них у всех, захвативших власть, было странное чувство: корабль, который они, как пираты, захватили, непрочным оказался, дал течь и тонет, а они все никак не могут заделать пробоину и только повелительно смотрят друг на друга и кричат друг другу приказы и советы, а то, что должно быть, происходит само, без их на то соизволения.

Сталин велел взрывать землю. По Красной площади рассыпались красные бойцы. Это вызвали саперскую бригаду. Красноармейцы быстро, неуловимо заложили взрывчатку. Взрывы вспыхивали. Короткий гром, еще один, еще один, еще. У окрестных жителей было чувство, что Красная площадь превратилась в поле боя. В воздух, вертикально, и в стороны, над бульжною мостовой, полетели комья мертвой ледяной земли и красные кирпичные осколки: под землею взорвали, видать, старинную, еще княжескую крепостную стену. Иван считал взрывы, считать он умел хорошо, до ста в школе считал; он насчитал сорок залпов. Сорок раз площадь взорвали! Рабочие садились на корточки, сдирали с рук рукавицы и бесчувственными пальцами щупали в яме землю.

После сорокового взрыва бригадир, катая в пальцах мерзлоту, просветлел лицом и крикнул: «Все, шабаш! Мягкая!»

Земля в ту зиму в Москве промерзла в рост человека.

И вгрызались в глубь земли; и поднялись изнутри нее невозможные запахи, так воняет ад, думал Иван; это взрывы обнажили черные нечистоты. А потом сверкнуло в ночи, и чертово электричество мигом убило двух рабочих: это строители гробницы наткнулись лопатами и кирками на подземный кабель. Дерьмо и ток, всюду смерть! Иван стоял на краю бездонной ямы и боялся глянуть вниз. Внизу шевелилась живая гниль и таился, полз искристый смертный змей. Вонь била в лицо, и Иван, невзирая на мороз, зажмурился, снял шапку и ею прикрыл нос и щеки.

Темечко застывало, обращалось в ком льда.

Убитых током рабочих несли прочь от ямы, и никто не крикнул, не заблажил.

Живо снимали с мертвых валенки, ушанки.

Все делалось молча. В молчание укутывались, как в бараньи, со свежих мертвецов, тулупы.

* * *

Все боялись ночи.

Ночью мороз становился просто невыносимый.

Рабочие не просили измерить этот мороз термометрами; рабочим было безразлично, какие цифры им назовут ученые люди, что привыкли наблюдать природу через приборы, — они прислушивались только к себе и сами себе отвечали на свой же безмолвный вопрос: «Еще две-три таких ночи — и ляжем мы тут все, задубеем, топорами нас и впрямь будут колоть, как мерзлые дрова». Над копошащимися на площади людьми зажгли мощные прожекторы. Яркие, белые снопы лучей разрезали плотную черноту ночи ножами, ножи схлестывались в черном воздухе, сшибались, потом застывали, и в огромных кругах мертвенного света, что падали на булыжники площади, люди продолжали работать — мрачно и рьяно, молча, лишь время от времени подбегая к пылающим кострам и суя в костер руки, иногда и до волдырей обжигая их: руки стали нечувствительны и к морозу, и к жару. Меж собой калякали: а вы знаете, мужики, Ленина-то не в могилу покладут! Не для могилы мы тут стараемся, надрываемся! А для чего ж тогда? Да вот племяш мой, он в кремлевском гарнизоне власть охраняет, он разговор подслушал тут один, так главные люди говорят, со всей страны им телеграммы отбивают, что, мол, сохраните да сохраните Ленина для нас для всех, как он есть! Это в каком смысле, как есть? Он же... засмердит хуже Лазаря! Да в таком, понимай как знаешь! Так прямо и пишут: возможность видеть любимого вождя, хотя и недвижимого... дай припомню... а, вот: утешит наше великое горе и даст нам силу и дальше воевать и побеждать! О как! И строчат, прикинь, непрерывно, со всего Советского Союза в Кремль строчат. Да, брат... это серьезно... А как же, наука, што ль, до энтого до всего уже, знать, достукалась?

Тьма обнимала Кремль, стояла навьтяжку по периметру площади. Взмывали рваные красные лоскутья костров. Взвивалась красная вьюга. Сыпались во мрак золотые и алые искры. Непрерывно горели доски, бревна и все, что могло гореть. Все было в жертву огню. Ноздри людям забивал дым. Ветер швырял в лица рабочих вместе с дымом снег и огонь, и они были для людей равны, оба в кулаках острого, режущего лица ветра. Рабочие то сбивались в густую толпу, толпа изрыгала ругань и смех, то опять черным горохом рассыпались по площади. На морозе звоном раздавался стук топоров. Пилы пели и визжали. Перекрикивались. Ржали лошади, тащили сани, в санях везли доски, бревна, брусья. На огромной, как дом, телеге привезли кучу песка, ссыпали на снег; вот еще и еще медленно ворочались по снегу бесконечные колеса, вот под полозьями скрипел и взвизгивал чистый снег и мгновенно становился грязным. Бревна множество рук тут же складывали в штабеля. Из ноздрей у коней шел густой пар, висел на морозе белыми клубами. Лошади мотали мордами и опять жалобно, призывно ржали. Их гривы и хвосты покрывались толстым слоем голубого инея.

Греться люди бежали в военные палатки: там были установлены печи. Этот странный мальчик, с бледным лицом, в неуклюжих валенках, метался туда-сюда, помогал, тащил то брус, то доску, пытался даже тянуть бревно, но, малый муравей, не сдюживал, бросал на снег. Мальчика подзывали: эй, сюда! тащи! неси! Он бросался со всех ног. Люди забыли, что значит есть, что значит спать. Однако ели, кто что, добывали еду, казалось, из рукава — в пальцах появлялась вареная картофелина, ржаная горбушка с солью, откуда-то мужик нес кастрюлю с кашей, держа обгорелую кастрюлю руками-крючьями в ободранных овечьих рукавицах; передавали друг другу чищеную морковь, и снова и снова — эти хлеба куски, настоящие куски хлеба, и липкие, и с опилками, и подсохшие, и пушистые отломы калачей, и печенные забытыми же-

нами ржаные плюшки, и опять эти черные корки, черствые, — драгоценные, дороже некуда, только нюхнуть, затолкать в рот и заплакать. От слез на морозе становилось всяко-разно горячей.

Землекопы вонзали лопаты в помягчешую землю на дне глубокой, голова закружится поглядеть, ямы. Приходили комиссары и хрипло, зло кричали плотникам: «Не ждите землекопов! Работайте над каркасом усыпальницы!» Плотники сбивали из длинных досок, из крепкого бруса каркас гробницы на хрустком, визжащем под ногами снегу. Котлован рыли и рыли, и однажды, когда день снова угас и Москву закутала в черный слепой плат слепая вьюжная ночь, настал миг, прозвучал на всю Красную площадь крик, которого так долго ждали: «Готов котлован! Ставь каркас!» Люди хлынули со всех сторон. Дотащили каркас до ямы. Опустили туда. Земля обхватила деревянные ноги и ребра. Рабочие застучали молотками: пошли в ход доски. Каркас превратился в подземную избу. Пахло свежими спилами досок. Бойкий мальчишка вбегал в дощатый саркофаг, выбегал из него и вопил что-то несурзное. Его одернули, он умолк. Бежал и потерял на снегу валенок. Скакал к нему обратно по снегу, поджимая под себя ногу, как журавль на болоте.

Подкатил грузовик, из кузова на снег сгрузили рулоны темной материи. Прямо на снегу, на булыжниках резали ножницами и ножами отрезы. Ванька встал на колени, изумленно рассматривая ткань. Красивая, красная, с черными полосами: мрачно, а здорово! Печальная материя, слезы наворачиваются. Тканью обивали дощатые стены изнутри. Пусть люди стоят внутри, плачут, утирают слезы и глядят на мертвого вождя. Он уже не мертвый будет в этом черно-красном свете; будет гореть тусклая лампа, а может, яркая, электрическая, а может, бедная, керосиновая. Ленин ведь был небогат. Говорят, он ел на газете, пил из щербатой чашки и умывался из гремучего рукомойника. Ничего не надо ему было на этой земле.

А завоевал полземли! Ведь наш Эсэсэсэр — это полземли, правда ведь?

А потом увидели: много ткани осталось, еще и черные отрезы, и красные, и полосатые — и приказали обить гробницу еще и снаружи.

Гвозди загоняли в мерзлое дерево, молотками стучали. Обили. Любовались, спохватывались: любоваться нельзя! Надо горевать дальше.

Гробница стояла, ее обнимал мороз. Уже стояла, и Ванька рядом стоял и глядел на нее. Он был маленький перед гробницей, а она была деревянная слониха, только что не переступала ногами под красной попоной, толстые ноги ее застыли на морозе и вросли в землю. Деревянная слониха стояла около Кремлевской стены и молчала, и Ивану чудилось, она медленно шевелит деревянными ушами, и до самой земли, до покрова снега, свисает ее длинный хобот. Морозный туман разошелся, и он разглядел: хобот — это был всего лишь пожарный шланг, его на всякий случай солдаты привезли сюда, ведь столько огня полыхало кругом.

Гробницу затягивало инеем. Внутри у нее уже сгушалось будущее. Будущее это было совсем не светлым, и совсем не счастливым, и не сладким, и не желанным. Такого будущего и желать-то было нельзя. Оно было черно-красным, цвета ада. Зато оно было настоящим. Таким, как оно и было задумано. И рождено.

Да вот беда, никто не знал, кем задумано и кем рождено: тем ли, кого должны были сюда привезти в красном гробу и укрыть сверху двумя красными знаменами, расшитыми золотыми нитями, или еще кем-то, имени которого никто из рабочих не знал, не знали и люди, что командовали ими. А может, это имя не знал и сам Ленин.

Может, только голос слышал: далекий, повелительный. Насмешливый.

Седая от горя и скорби красная стена Кремля высилась перед вымотанными непосильной работой людьми, уходила в заоблачный холод. На досках красноармеец, стоя на высокой лестнице, малевал великое и бессмертное имя: ЛЕНИН, окуная ши-

рокий флейц в ведро с черной краской. Он обводил краской деревянные выпуклые буквы. Буквы рабочие выложили из плашек и прибили к высокой доске. Краска быстро застывала на морозе, и боец торопился. Он махал флейцем в морозном туманном воздухе, не вырисовывал красиво, мазал как попадетса — спешил. Успел. Рисовал последнюю букву святого имени, а черная краска уже замерзала на глазах, затвердевала черным льдом, бугристым черным гранитом. <...>

* * *

<...>...И пришел домой, и открыли ему дверь; и ввалился в коридор, как пьяный, и женские руки его раздели, быстро и ловко, а он все представлял себе, как пила вгрызается в кожу и кость, как пилит, кромсая, живое красное мясо и как вместо крика из человека, которому отпиливают ногу, а потом руку, вырывается то, чему имени нет; и предложили ему поесть, и отказался он, жалко оправдываясь, говоря: да я уже поел, да меня в Кремле настоящим грузинским лобио угостили, Мзия приготовила, и женский голос придиричиво, ревниво спрашивал его: кто такая Мзия, ты мне о ней никогда не говорил, и он тихо хихикал: да я тебе все наврал, Мзия — это моя выдумка, специально для тебя, чтобы ты меня приревновала, а то ты меня совсем не ревнуешь! — и все-таки его усадили за стол, и он глухо, жестко сказал: ну тогда уже вынимай из шкапа штофик, там, внизу, рядом с тифлиским медом, увидишь, и нежные быстрые руки вытащили штоф, налили ему рюмку, поставили рюмку перед ним, а на тарелку положили кусок хорошей копченой рыбы, красной рыбы, он не разобрал, что за рыба, семга, а может, севрюга, а может, нерка, а может, лосось, он подцепил кусок рыбы на вилку, и это было как красное знамя на серебряном древке, и он смеялся: красное знамя реет над нами! — а женское лицо рядом моталось, качалось, серьга тихо качалась в нежном ухе, и хорошо пахло иностранными духами, и он внезапно рассердился и бросил: что, когда уже начнешь душить советскими духами?! разве у нас плохие духи?! — и полные женские плечи поднялись презрительно и опустились, и он зло взял рюмку и опрокинул себе в рот, это был самолучший коньяк, тоже из Тифлиса, он просил всех, кто бывал на юге и заезжал в Грузию, привозить ему все грузинское: гранаты, мандарины, пирог с орехами и изюмом, коньяк, виноград, — и перед глазами все моталась эта пила, ее стальные зубцы, он видел, как пилу держат за ручки эти двое, красный офицер и молодой солдат в фуражке с красным околышем, а под околышем горят полнейшим, радостным безумием такие твердые, железные глаза, где-то он его видел, этого парня, далеко парень пойдет, бесстрашный, он любил таких бесстрашных, они подтверждали его идею о железных людях, одна из главных идей его жизни была такая: сотворить железного человека, который в огне не горит и в воде не тонет, может пытать и убивать одною рукой, а другой возводить и строить могучие, мощные громады — здания, памятники, города, плотины, корабли, — выпитую рюмку он никак не почувствовал, что пил коньяк, что нет, а это ведь был очень крепкий коньяк, почти ром, почти чача, да что там, это, наверное, и была чача, его обманули ушлые грузины, конечно, чача, как он раньше не догадался, восемьдесят градусов, кишки в животе свернутся в трубочку и взорвутся изнутри, а если представить, что там, на Лубянке, этот бойкий молодой солдат в черном балахоне, на котором не видна никакая кровь, все пилит и пилит, теперь уже руку этой поганой кухарки, да почему поганой, она же ни в чем не виновата, а что если у женского лица, что качается над тобой в темном красном тумане, попросить еще рюмочку, а потом еще, а нет ли в доме чистого спирта, просто медицинского спирта, мы же заказывали в кремлевской аптеке для Васо, где-то же был, был, я же помню, я все помню, помню, я еще в своем уме, тащи скорее, а то я тебя побью, — и женские губы изгибались лукаво и надменно,

и женский голос говорил слабо, глухо: нет, не побьешь, теперь уже никогда не побьешь, а почему, рычал он, дай, буду пить из горла, и хватал бутылку, выхватывал из тонких смуглых рук, припадал к стеклянной дыре, оттуда лилась сначала сладость, потом горечь, потом в глотку ему лился огонь, и он глотал огонь, и он загорался, а что, смерть в огне, смерть на костре, надо будет это тоже продумать, — а голос отвечал ему, и губы улыбались, и смуглая рука трогала пятно коньяка на чистой камчатной скатерти: потому, потому что я стала теперь свободная женщина, и он рычал еще громче: ты что, разве со мной развелась?! — а нежный хохот звенел в пустой угрюмой комнате, и лишь одинокий грузинский ковер висел на стене, и звон этого хохота слушали угрюмые шкапы: да нет, я с тобой не развелась, ни мне это не нужно, ни тебе, просто я тебя больше не боюсь, ты можешь сделать со мной все что угодно, сжечь меня на площади, избить, отпилить мне руку, отпилить ногу, разрезать мне живот и выпустить кишки, можешь меня как угодно пытаться, но ты меня уже больше не заставишь бояться тебя, все, кончился мой страх перед тобой, — и он изумленно слушал этот голос и вдруг перестал видеть, мрак и влага застлали ему глаза, и он пытался промокнуть глаза кистями камчатной скатерти, потом обшлагами, а влага из-под лба все не уходила, и зубы кусали губу, и смуглые руки опять наливали в рюмку коньяка из тифлисского штофа, и он опять пил, и руки переворачивали штоф, а оттуда больше ничего не лилось, ни коньяка, ни крови, и голос нежно смеялся, и ему было нечего на это сказать, и чтобы поддержать этот смех или опровергнуть его, он засмеялся тоже и смеялся все громче и громче, смехом своим нежный смех заглушал, но женский смех все равно сквозь его железный грохот пробивался, и тогда он умолк и пьяно заскрипел зубами, да, он был уже пьян и в то же время трезв, трезв как стеклышко, он так хорошо сейчас все соображал, лучше некуда, он сообразил, что страх — это самое лучшее оружие, лучше любых пушек и ружей, что только страхом возможно победить человека, но всегда найдутся люди, которые победят страх, и тогда эти люди окажутся сильнее страха, а значит, сильнее него самого; и тогда, вот в чем ужас и вся ценность, эти люди и явятся самым мощным, непобедимым оружием, они и станут теми железными людьми, о которых он всегда мечтал, которых так давно задумал родить и уже был так близок к осуществлению этой мечты, да вот со всех сторон ему все мешали, — и за столом остался один женский смех, он все висел и звучал, плавал вокруг его головы, и потом незаметно перешел в рыдание, и он запел старинную грузинскую песню, фея дальних дней, до свидания, бирюза твоя как рыдание, что без бирюзы наше прошлое, пустота без слез, без дыхания, — и женский голос вторил ему, и так, сидя за пьяным пустым столом, они оба пели древнюю горскую песню, и оба плакали, и оба уже пожимали друг другу холодные, одинокие руки, и оба уже обнимали друг друга одинокими, дрожащими руками, и оба жалели друг друга.

<...>

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

<...>

Красные флаги свисали до полу.

Они укрывали изножье дорогого гроба.

Надя, какое имя сейчас у тебя? Опять Надя? Всегда Надя. Ты пришла сюда против своей воли. Ты не хотела, но пришла. Посмотреть, а может, из-за чего другого? Одна, совсем одна. Тебе открыли беспрекословно — ты же жена владыки. Тебя вся Москва знает в лицо, хоть ты стараешься всегда спрятаться, уйти от чужих глаз. Девчо-

ночка Надя! чего тебе надо? ничего не надо, кроме шоколада? Девчоночка Тося, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты и успокойся!

...Пришла сюда поздно вечером. Попросила Удалова привезти ее в Мавзолей. Удалов разбежался было: давайте и я с вами пойду! я давно Ильича не видел! — но она резко оборвала его: хочу быть там одна. Одна, зачесал в голове шофер, да ведь мало ли что, я вас там буду охранять! Охранять от кого, горько спросила она, от красных знамен? Они оживут и обнимут меня красными руками? Удалов захихикал и терся подбородком о воротник пальто. Долго заводил мотор.

Девчоночка Валя заплачет едва ли! Бойко отвечает все, что ни задавали! Девчоночка Люда, тебя бить не буду, коньяком с лимончиком вылечу простуду...

Они долго, почему-то страшно долго, как в другой город, ехали по темным улицам; кое-где горели окна, гордо светили сквозь метелицу фонари, но город обезлюдел, магазины зря пылали витринами, и двери парадных подъездов не хлопали, открываясь и закрываясь. Мир лежал, как в Мавзолее, лежал с закрытыми глазами. Каменные стены, гранитные своды. Москва умерла, и ей надо было отдать подобающие почести. Когда-нибудь нас похоронят с почестями, усмехалась она. Машину дергало вправо, влево. Удалов неистово крутил руль, но почему-то не мог выбраться из круговерти метели, из ее белого лабиринта. Лучи, бьющие из горящих окон, перекрещивались на снегу, и мотор ехал, как по золотым шпалам. Скоро ли будет Красная площадь, мертвым голосом спросила Надя, и Удалов растерянно пожал плечами: сам не знаю, где мы плуаем! то ли с машиной что-то, то ли со мной!

Танцевала карапет, поранила пятку! танцевала казачок... а потом впрыскаю...

Девчоночка Маша, ах ты радость наша... потеряла портмоне... что за растеряша...

Снег сыпал и сыпал в лобовое стекло. В салоне пьянице пахло горючим. Темные дома сдвигались, грозя раздавить железную коробку. Наконец освобожденно вырвали на простор, и под колесами всплыла из-под снега благородная, вместо древней мостовой, недавняя брусчатка. Машину чуть подбрасывало на гладких черных камнях. Подкатили ко входу. Надя вышла, обернулась к шоферу: сиди и жди, — хлопнула дверцей.

Боец у входа, с красной повязкой на рукаве, сердито обсмотрел ее с головы до ног. В заячьей шубке с потертым воротником, в наспех наброшенном на плечи козьем платке она гляделась молоденькой крестьянкой, прибывшей из дальней, может, сибирской волости, поглядеть Ильича, да вот припоздала к Мавзолею с вокзала. Охранник рывкнул было: стой! куда! — и выставил вперед винтовку, да Надя шагнула ближе, спустила пуховый платок на плечи, и боец смотрел в ее голое лицо, это лицо уже печатали в газетах. Взял под козырек. Здравия желаю, товарищ Аллилуева! Она молчала и смотрела на солдата. Он смешался. Вы это, что, сюда, что ли?.. так поздно? на ночь глядя? одна? а товарищ Сталин с вами? Я одна, разлепила губы Надя, и товарища Сталина нет со мной. Можно я войду? Так точно, можно, Надежда...

Раньше были рюмочки, а теперь стаканы. Раньше были мальчики, а теперь нахалы. Раньше были ниточки, а теперь катушки. Раньше были девочки... а теперь... болтушки...

Не дослушав, она прошла мимо упертой прикладом в снег винтовки, другой боец, что стоял перед дверью, быстро открыл замок и распахнул ее. Ее обняла пряная, холодная тишина. Стоящий за ней повернул рубильник, под потолком включился свет, он залил полосы черного камня и красные гладкие, недвижные озера. Угольно-черный лабрадор всхливал изнутри яркими синими бликами. Красный гранит сверкал, как море на закате. Если тихо, медленно идти, в каменную воду можно войти. И утонуть.

Она и шла медленно. Один шаг — вся жизнь. Девчоночку Любу поцелую в губы, ты не плюйся мне в лицо, я совсем не грубый. Ты убежала сюда? Ты убежала от своей

жизни, чтобы посмотреть на вашу совместную, ту, что приснилась в березовом лесу, в избе той дурочки? Еще шаг. И еще жизнь. Важно бежать, убежать. Никогда не оставиваться. Душа моя, не оглядывайся назад! Кто это сказал, когда, и ей ли, и не она ли — сама себе?

Танцевала карапет, порвала ботинки... Остались на ногах чулки да резинки... Музыка играет, аж чулки спадают... а подошвы с ботинок собаки таскают...

Красный гранит отсвечивал в лучах прожекторов настоящей кровью. Моря крови, как же это смешно, когда так говорят. Ее всегда смешили эти выражения, море крови, коньяк лился рекой, из грязи в князи. Они все в революцию поднялись из грязи в князи, и путь этот был верным, народу дали свободу — живи или в грязи, в ней и сдохни, или выбирайся оттуда, рвись в небеса! Вот летчик один есть, Иосиф про него рассказывал. В Ленинграде живет. Летает так, что сейчас в стратосферу! А сам родом из села на Волге. Фамилия смешная, то ли Чукалов, то ли Чекалов. Моря крови, моря. Шаг, еще шаг, и так она будет идти целую жизнь. Она убежала от одной жизни, а где другая?

Пройдя морями застывшей ледяной крови, она замерла у саркофага.

Сияние лилось из лица Ленина. Слишком белое, светлое, гладкое, будто резиновое, оно сияло умиротворением и торжеством. Да, он мог праздновать победу. Он победил. Кого? Своего друга? Он на троне. Смерть? Но вот она, царит, и теперь он есть смерть. Он красный царь этого гранитного зала, и черный лабрадор взрывается изнутри новыми звездами, но он этого не видит. И никогда не увидит. Ему все равно.

Надя сделала к мумии еще шаг. Владимир Ильич, шепнула она едва слышно, я к вам пришла. Я сбежала. Нас здесь сейчас никто не увидит. Никто не знает, что я у вас. Дайте мне знак, что вы поняли, что я здесь! Я ничего не боюсь. Я не задрожу. Бога нет, я знаю. Но есть вы! И я...

...стояла, залитая светом прожектора, потом медленно опустилась на колени.

...она уже вставала перед ним на колени, как, когда, разве она теперь вспомнит? Не надо вспоминать.

Закинув голову, она глядела на красный бархат знамен. Когда-нибудь они станут гранитными. А монументы уже шагают по стране; памятников Ленину сейчас так много, не сосчитать. Они сделаны из чего угодно: из бронзы, из мрамора, из стали, из гранита, из крашеного гипса — в нищих селах-деревнях ни о какой бронзовой отливке слыхом не слыхивали, есть только, в кузнях да на конюшнях, дешевый гипс да краска-серебрянка, — из антрацита, из меди, из железа, из нефрита и агата, есть даже выточенные из дерева, и через малое время их источат дожди, снега и ветра, но дерево такое теплое, как живое тело, потрогав его, можно ощутить тепло живой плоти и души, что ушла.

Ты здесь! Душа, ты! Говорили, ты — выдумка. Зачем же тогда мы плачем и любим?!

Ах, девочка Надя, чего тебе надо? Ничего не надо: денег и богатых! Денег и так нету, никто не заплатит! Ты осталась где-то, где задаром платья... Музыку играйте... а вы, люди, чуйте... у кого ноги болят — карапет танцуйте...

...она хотела молиться, и ей было смешно и страшно.

...она не умела молиться, ее никто не учил.

Колени холодил гранит. Она стала гранитная, и смешно было думать, что еще недавно она была живая.

Он, вождь, теперь тут навечно. Ты помолись ему, он услышит.

И она стала молиться Ленину, а может, просто разговаривать с ним, как не говорила с ним живым никогда.

* * *

(СОЖЖЕННЫЙ ДНЕВНИК НАДИ:
МОЛИТВА НАДИ ЛЕНИНУ)

Дорогой мой человек, дорогой мой Ильич! Ты прости, что я к тебе так поздно пришла на важный разговор. Вот лежишь ты тут, так тебе покойно и хорошо, и не знаешь, что делается с нами со всеми, с твоей родной страной. Ты боролся за ее счастье. Ты жизнь положил за ее счастье! Зачем же в революцию ты убил столько людей? И в Гражданскую войну — убил? Спросишь, почему я так говорю: ты убил! Да потому, что это правда! Ты приказывал — и люди шли штурмовать старые дворцы. Ты приказывал — и бойцы строились в ряды, и вздергивали винтовки на плечи, и шагали сапогами по грязи — убивать своих братьев. По твоему приказу брат убивал брата! Или не по твоему? Милый, дорогой мой человек! Нужно ли было так это все делать? Неизбежно ли все это было? Ты нас всех учил: да, неизбежно! Только так и делаются революции! Но ведь из лучших чувств ты сгубил полстраны. Народ тебя любит, да, и как ни убивай народ во имя твое, он все равно будет, умирая, повторять твое имя. Он умрет с Лениным на устах!

Ты стал великим, ты стал божеством! А я стою вот сейчас тут перед тобой, и мне до боли хочется припасть к твоим ногам. Они еще теплые, ты еще жив. Ты смотришь на меня, искры бегают в твоих прищуренных добрых, полных света глазах, искры сыплются из твоих глаз, и я счастлива: ты посмотрел на меня, и жизнь опять полна, и хочется жить и свершить много важных, прекрасных дел! Во имя твое? Да, во имя твое! Всегда во имя твое! Ты первый. За тобой пошли, а ты шел впереди. Ты не боялся того, что ты оступишься и свалишься в грязь; не боялся, что тебя убьют. А тебя и убивали. Та эсерка, Фаина Каплан! На заводе Михельсона! У нее рабочие вырвали из руки пистолет. Чуть не растерзали на месте. А на суде оказалось, что Каплан звали другим именем. Женским или мужским? И она оказалась совсем другим человеком. Все равно расстреляли. Владимир Ильич, дорогой, я знаю теперь, расстреляют всех! Иосиф сказал мне: хороший кавказский хозяин всегда режет своих баранов, чтобы они правильно размножались и не заболели бешенством. И смеялся, и спрашивал меня: ты когда-нибудь видела бешеного барана? о, это страшное дело!

Ленин, Ленин! Почему ты лежишь один посреди нашей огромной земли в этом маленьком каменном склепе? Зачем тебя сюда положили, заморозили ужасными веществами, впрыснули в тебя лед и железо и оставили так лежать, почему не погребли, как всякого русского человека? И нет теперь креста на твоей могиле. И нет у тебя могилы, как у всех. Ленин! Может, тебя заморозили и положили здесь, посреди всей страны, только лишь для того, чтобы все, вот как я сейчас, могли тебе молиться? Но времени нет у людей побыть тут наедине с тобой. Их пускают сюда на минуту, и они идут мимо тебя быстро и тоскливо, еле успевая схватить глазами бархатный блеск знамен, тьму гранита, синие вспышки внутри черного лабрадора. И скользнуть взглядом по твоему спокойному лицу, и каждый идет мимо гроба и думает: а вдруг сейчас он откроет глаза!

Открой глаза, Ильич! Открой, я посмотрю тебе в глаза! Ты видишь, отсюда, из-под красного гранитного потолка, меня на коленях, я на коленях перед тобою, и я не знаю, зачем я говорю с тобой и плачу. Плачу, потому что надо оплакать всех, кто погиб! Плачу, ведь только слезами можно отмыть грязь со всех грязных людей, кто по приказу твоему поступал подло, мерзко! Ты видишь, Ильич, все можно извратить! Любое учение! Любую мечту! Нет ничего чистого в мире! И мы живем после тебя,

наблюдая то, что тебе и не снилось! Ты, может, не хотел того, что случилось. Но ты всему этому дал толчок! Ты толкнул нашу землю к пропасти, и вот она туда летит, катится, как шар, и я не могу ее остановить! И никто не может!

А знаешь, дорогой Владимир Ильич, драгоценное, горячее сердце мое, как я вспоминаю наш побег! Я стараюсь нечасто вспоминать его. Но это самое дорогое, что у меня есть на земле. Я еще рожу детей. Я еще какое-то время буду красивой, и буду с радостью смотреться в зеркало, и наряжаться, и нацеплять на шею бусы, и обвораживать людей улыбками. Улыбка у меня еще белоснежная, зубы хорошие. Я ведь еще молодая! А ощущение у меня часто такое, будто мне три тысячи лет. Что будет с тобою, с твоим Мавзолеем через три тысячи лет? Разве мы с тобой знаем об этом? Может, вся земля сгорит в огне чудовищной войны. Налетят самолеты и все разбомбят. И уже никто ничего не отстроит. Люди будут сидеть на обломках и плакать. Как я, я плачу сейчас.

Наш побег... Ты тоже помнишь его? Лежишь, молчишь! Конечно, помнишь! Какое ясное небо сияло тогда! А помнишь мужика с подводой? Вовремя он нам попался! Ты лежал в подводе и глядел в небо. И так ясно, чисто все было кругом, и пахло грибами и сухими листьями, и соломой, и навозом, и куравом, и медом. Пахло настоящей жизнью, а мы все, в наших господских хоромах, жили — ненастоящей. Игрушечной и подлой. Ты знаешь, Ильич, я сейчас тоже живу такой жизнью. Мы с Иосифом живем как господа: нас катают на машинах, нам шьют шубы и шапки в лучших ателье, мы едим дорогую еду с красивых чистых тарелок. Нам все подают и приносят и все уносят прочь, мыть, чистить, перебирать и выбрасывать, мы и пальцем не шевельнем. Мы только пользуемся. Значит, Ильич, господа остались? Значит, революция не уничтожила господ как класс? Убили одних господ, явились другие. И стоило проливать кровь!

Ты учил: все равны! Ты учил: делай все сам, никого не эксплуатируй! А мы, кто наверху, без зазрения совести помыкаем теми, кто ниже нас. Кто делает за нас всю грязную работу. Иосиф не раз говорил мне о том, что люди — стадо. Значит, избранные — пастухи? Есть архитектор, и есть каменщик. Архитектор Щусев придумал твою гробницу, но клали гранит и лабрадор простые каменщики. Нет жизни без каменщиков! Без крестьян! Нет, ты помнишь, помнишь нашу избу, где ты лежал на лавке?

Ты лег на лавку, тебя укрыли теплой шубой, и я сидела на полу, взяла твою руку в свои и смотрела на тебя. Мне неважно было, смотришь ты на меня или нет, спишь ты или нет. Я сидела на полу, и твоя рука в моей руке. Знаешь, вот я стою на коленях, я, как перед судьей, перед тобой, как перед Богом, и сейчас мне ничего не выдумать и не скрыть перед тобой и перед собой тоже, я держала твою руку в своей руке, и из твоей руки в мою перетекала вся твоя жизнь. И я тогда, я не понимала этого, теперь понимаю, молилась твоей жизни, благословляла ее и любила ее. И я теперь понимаю, что любовь — это вера, важно верить в святое, я свято верила в тебя, и я любила тебя, и такой любви в мире нет, она есть только между теми, кто убежит от мира.

Мы убежали от мира, от людей, мы убежали от твоей смертельной болезни, от твоей жены и сестры, от армии, от флота, от чугунных домен, от массовых казней, от пыток и заговоров, от браунингов и маузеров, мы опускались на дно этой крестьянской нищей избы, как опускается рыба в реке на дно зимой и вмерзает в лед, мы были с тобой одни, и мы могли думать вместе, молчать вместе, и ты спал на лавке, а я любила тебя. Так молчать — ведь это больше, чем спать вместе! Женское, мужское убегает прочь и больше не вернется, остается лишь любовь. А любовь всегда убегает от ненависти. И от рабства. Она не терпит хозяев. Она не ложится под кнут. Эта нищая изба той дурочки стала нашей лодкой, и мы уплывали в ней навстречу любви, мы вместе плы-

ли, мы вместе ели и молчали, а это будто молились вместе, ты, атеист, и я, атеистка, и эта лодка помогала нашему побегу, мы плыли на ней в иное время и в иное море.

Милый! дорогой человек! единственный на всю жизнь мою! Прости меня, меня, что ты тут лежишь. Я должна была убежать с тобой так, чтобы нас не схватили. Не нашли больше никогда. Я плохая. У меня не удалось. Слишком много людей вокруг нас. Я бы хотела убежать с тобой на остров в далеком море. Море сияло бы красной кровью на закате. Мы бы ловили в сети рыбу. Я бы варила на костре уху. Белые рыбки глаза вылезали бы из орбит. Мы бы ели и нахваливали. Я бы целовала тебя. Я помню, как я тебя целовала. Я все помню. И прошлое, и будущее, все. Я собирала бы с деревьев фрукты, садилась бы на песок и смотрела бы, как ты ешь. Ты бы помолодел, много плавал, растирался полотенцем. Мы вместе гуляли бы по мокрому песку и смотрели вдаль. Через бездну, на тот свет, откуда мы убежали в нашу с тобой единственную жизнь. Тосковали бы мы? Или нет? Иногда я ловила бы тоску в твоих глазах, глядящих вдаль. А вместе бы спали мы или нет? Ты ведь еще молодой. Ты и умер молодой. И лежишь тут, молодой... ты...

* * *

Она, стоящая на коленях перед гробом, не видела, как неслышно в зал Мавзолея вошел человек.

За ним еще один.

Тот, кто вошел после, встал, охраняя вошедшего прежде.

Два человека стояли так: один перед кругом прожекторного света, другой поодаль, у стены, ближе ко входу.

Оба смотрели на женщину, стоящую на коленях перед мумией вождя.

Воздух сгустился, по гробнице стали расплываться теплые алые потоки. Лучи скрещались и расходились, будто кто-то качал прожектор в вышине. Знамена поменили складки. Рыдание пронеслось в воздухе и погасло. Незримые крылья хлопали ритмично, будто кто-то огромный дышал возле. Было ощущение, что у гроба зажгли свечи, но это была световая иллюзия. Красный камень очерствел и мрачно загорелся под ногами, под сапогами вошедших. Мужчины смотрели на женщину и молчали. И выходило так, будто они оба сторожили ее.

Надя стояла на коленях, сжав руки и прижав их к груди. Потом разжала руки и опустила их, и они упали вдоль тела, пальцы вытянулись и коснулись холодного гранита.

Настал момент, когда она услышала чужое дыхание. Она хотела обернуться и не могла. Ее разговор с Лениным оборвался, и она не помнила, на чем закончились ее похожие на медленно текущие слезы, нищие слова. Дыхание человека она слышала уже отчетливо. Чуть с хрипотцой, с присвистом. Дыхание курильщика. У курильщиков легкие гудят, как баянные меха. Знакомый запах табака донесся до ноздрей, и она поняла: не убежать.

Никогда и никуда.

Сапоги закрипели по гранитному полу. Раз-два, раз-два. Армейский плотный шаг.

— Ну, привэт, же-на, твой муж при-ехал за та-бой.

Она стояла на коленях.

...я не хочу оборачиваться к тебе. Ты же видишь.

...я все равно убегу от тебя.

— Ты што, глу-хая?

...сейчас он подойдет, схватит за плечи, рванет меня за плечи вверх. Я все равно не встану. Пусть он меня катает здесь по полу и бьет сапогами. Как тех, кого он пытается там, в их чертовых застенках.

— Эй! што, умэрла, што ли?

Она стояла на коленях.

Вот они, руки, у нее на плечах. Но эти руки не трясут ее, не дергают ее. Они неожиданно мягкие. Почти ласковые. Да, ласковые! Это ласка. Руки гладят ее плечи, ласкают. Они не пугают. Они не устрашают и не делают больно. В них нет злобы. Они — живые. И они говорят с ней.

...руки говорят: Надя, прости, если я сделал тебе больно.

...прости, Надя, если что не так.

...еще они говорят: Надя, вставай, солнышко мое, чемо мзео, чемо сикваруло, поедем домой, Удалов ждет, я поганец, да, я знаю, я груб с тобой, но я такой, видишь, у меня такой характер, девочка моя, ласточка, ме шен миквархар, суло чемо, прости меня.

Она поворачивала голову так медленно, будто она была мертвая и вот ожила.

Не видела его лица. Ей не хотелось на него смотреть. Но руки были так ласковы, так дрожали и просили прощения. Значит, и ты человек!

Он просунул руки ей под мышки. Она встала не тяжело, а невесомо. Не отрывала глаз от Ленина, укрытого в ногах знаменами. Яркий тяжелый бархат мерцал в ледяном свете прожектора. Не было прошлого и будущего. Была только тьма Мавзолея. И этот вечный свет прожектора, освещающий все укромные уголки обнищавшей души.

— Идем, идем...

Он вел ее по гладкому граниту. Черный лабрадор смеялся, скаля горящие синие зубы. Она переступала медленно, у нее болели затекшие ноги. Она не оглядывалась, но Ленин смотрел на нее. Она этого не видела, но он смотрел на нее. Он смотрел на нее зрячим белым лбом, зрячими бровями, зрячими крепко сжатыми губами, зрячими щеками, зрячими скулами.

И он все-таки открыл глаза.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

<...>

Муж высадил ее из машины, она подала ему руку, и так, рука в руке, словно танцующая старинный, из бывших времен, мертвый полонез, они вошли в мрачный торжественный дом и поднялись по лестнице в квартиру супругов Ворошиловых. Нарком обороны сам встретил их в дверях. О, кто к нам пожаловал! Добро пожаловать, товарищ Сталин! Милости просим, дорогая Надежда Сергеевна! О, вы стали еще краше! Детки вам на пользу! Теперь третьего, третьего рожайте! Нужен третий, и богатырь!

Она, улыбаясь, переобулась во взятые из дома туфли на высоких каблуках. Улыбаясь, прошла в гостиную, и все головы тут же повернулись к ней, все рты заахали: ах, Надя! Наденька, ах, Надежда Сергеевна! как рады, уж так рады! проходите, садитесь к нам! нет, к нам! нет, к нам!

Какое на вас превосходное платье, вам так идет черное, все грузинки носят черное, ах, вы не грузинка? нет? а кто же? И этот жемчуг, он так вам к лицу! Она, улыбаясь, обводила глазами людей за столом. Сколько приговоров подписал Климент? Легкие, изящные усики, котячья милая мордочка. Десятки, а может, сотни тысяч казненных. Милый Климент Ефремыч, как вы прекрасно выглядите! Вы загорели! Неужели это на зимней рыбалке?

Она, улыбаясь, стояла и ждала, пока человек, с которым она приехала сюда, сам крепко, властно возьмет ее под локоть и усадит за стол. Она — вещь. Она очень дорогая вещь. Прекрасная жемчужная игрушка. Жемчужные бусы. Украшенная жем-

чугами кукла. Кукла умеет говорить. Она хорошо, внятно пищит: мама! И все улыбаются вокруг. И улыбается она.

Сталин приблизил к ней щеку, коснулся усами ее щеки, она дернулась, он тихо и зло сказал: прэ-крати улыбаться, га-вари што-нибудь. И она открыла рот и тонко, плачуще сказала по слогам: ма-ма! И муж сжал ее локоть до боли, до синяков, и широко улыбнулся сам, и на весь стол пояснил: жэна па-шутила, а-на так лубит шу-тить, дэ-тей мы ас-тавили дома, а-на бэз дэтей всо играет в дэ-тей.

И все засмеялись.

И даже захлопали в ладоши: bravo, заботливая, великая мать!

Жена Бухарина смотрела на нее с ненавистью. Надя улыбалась ей. Наде недавно донесли, что ее муж спит с женою Бухарина. Она улыбнулась, потом расхохоталась. У нее в тот вечер голова чуть не раскололась. Она металась по квартире и кричала сама себе: убегу! убегу! Но никуда не убежала, забралась на диван с ногами и грызла ногти, и нянька делала ей на лоб холодные примочки.

Разлили вино, вносили новые закуски, заманчиво, южно пахло перцем и корицей, и свежей бужениной, и коньячными ароматами. В хрустальных фруктовницах гроздьями лежал синий виноград, его сизые бока лоснились. В сырокопченой московской колбаске, нарезанной тонкими ломтями, просвечивало розовое сало. Вячеслав Молотов взял бокал, поднес его к глазу, другой прищурил и так, сквозь кровавый бокал, рассматривал пирующих. Пили. Вино хорошо пошло под обильные закуски. Жена Ворошилова, Екатерина Давыдовна, кричала, и голос ее с трудом пробивался сквозь веселый немолчный гомон: горячее вносить?! горячее вносить?! Коньяк выбулькивал из горлышек над бокалами. Восклицали: славься! да здравствует! пусть вечно живет! Надя взяла себя за виски обеими руками. Так сидела. Вам плохо, Надежда Сергеевна? Да! Плохо! Нет! Я пошутила!

Ее муж пил много, она это видела. Она не беспокоилась, хочет пить, пусть пьет. Она видела: он ошеломляюще быстро пьянеет. Будто ему в вино подлили водки. Она увидела: он пил все — вино, водку и коньяк, и она поняла: он хотел опьянеть. Что случилось? Давно он так зло не глядел на нее. Как на червя, и его надо быстрее раздавить, и счистить с подошвы скользкую лепешку. Он сидел напротив, как это по-французски называется? да, визави. Курил прямо за столом. Не трубку — сигарету. Докурил. Повертел окуроч в пальцах. Положил окуроч на тыльную сторону ладони, шелчок, и окуроч полетел в Надю. Попал ей на голую кожу декольте. Она стряхнула окуроч с груди, как бабочку. Улыбалась.

Голова разламывалась надвое.

Рядом с ее мужем сидела дама. Они оживленно беседовали. Надя пыталась слышать, о чем они говорят. Общий гул заглушал тихую, вкрадчивую речь двух людей. Она смогла слышать во вспышках смеха и болтовни: а где наш прелестный товарищ Глебов? Расстрелян. Он а-казался пэред на-ми крупна ви-нават. Боль загудела в голове, закружилась, изнутри расстреливая ее лоб, темя, затылок. Только улыбайся! Не дай ему себя согнуть в бараний ро! Надя, улыбаясь, заговорила с тем, кто сидел рядом с ней. Ей было все равно, кто сидит рядом с ней. Это был незнакомый военный, а может, это был Климент, она не разобрала. Боль застлала глаза. Улыбка все еще жила на губах, важно было улыбаться во что бы то ни стало. Надя возвысила голос, из нее живо, весело, быстро посыпались слова и радостные восклицания. Военный рядом с ней пробовал вставить хоть слово в ее пылкую, веселую, сбивчивую речь — ему не удавалось. Сталин взял из фруктовницы мандарин и стал его медленно чистить, пристально глядя на жену. Пока он его чистил, она уже знала, что он в нее бросит: либо мандарином, либо очистками.

Очистил. Жадно, высасывая из долек сок, съел мандарин. Покачал на ладони корки. И — запустил в жену.

Мандариновые корки перелетели через стол и попали Наде в лицо, усыпали ей колени и стол. Климент или кто-то другой, сидевший рядом, смотрел на Надины голые коленки, торчавшие из-под черного шелкового платья.

Корки валились на пол. Надя улыбалась.

Потом выше вскинула голову.

Ее голос зазвенел над столом пожарным колоколом.

— Бессильные мужья обычно вот так ухаживают за женами!

За столом повисло молчание, сродни молчанию в суде, когда оглашают приговор.

Надя сверлила глазами мужа. И улыбалась, так улыбалась, как не улыбалась никогда.

Сталин отвел глаза. Глядел в сторону. На паркет, уже усеянный окурками, спичками, мандариновыми корками, мятыми салфетками.

— Дура!

В молчании это прозвучало как крик, хотя он произнес оскорбление веско и спокойно.

Протянулась чужая рука. Слишком много тут тянулось чужих рук, щупалец. Щупальца налили ей вина в бокал. Щупальца протянули бокал ей, насильно втиснули хрустальную ножку ей в пальцы. В свете громадной, как вечный праздник, люстры сверкали, больно ударяя по зрачкам, хрустальные грани.

— Эй, ты! Пэй! — зычно крикнул Сталин.

Она вздрогнула всем телом.

Боль пронизала ее сверху донизу, от макушки до подошв.

— Я тебе не эй! — звонко, громко крикнула она в ответ.

Почему, откуда такая боль? Голова болит так, что ей понятно — из нее вынимают жизнь, уцепили мясным крюком и тащат, рвут наружу, а жизнь хочет остаться в ней, не дается, отбивается. Надо улыбаться! Надо, надо! Так улыбайся! Терпи! Это твоя тюрьма. Из любой тюрьмы можно убежать! Устроить побег! А из-за этого стола — убежать можно?

Она вскочила. Стояла за столом, расставив ноги, как конькобежка на льду. Стул за ее спиной упал на пол. Его оттащили, освобождая ей дорогу: поняли, что она уйдет. Она пятилась из-за стола, ее пальцы сами тянули за собой скатерть, на паркет уже стали падать рюмки и тарелки, разбиваться, катиться по углам бокалы, осколки летели, на них наступали с хрустом чьи-то ноги, ее каблуки вонзались в паркет, на пол свалилась хрустальная фруктошница и разлетелась на мелкие кусочки, уже бежали домработницы в фартучках, с вениками и совками, а она тащила скатерть со стола, и валилась скользкая икра, и падали под ноги людям их съедобные забавы, и топтали хлеб, и кричали: да выдерните! выдерните скатерть у нее из рук! а вниз скользили и падали амбары и риги, склады и гаражи, плотины и стадионы, и разбивались, и взрывались веером осколков, и умирали, и исчезали, и у нее из пальцев наконец-то выдернули белые снеговые кисти скатерти, и лишь тогда она повернулась и пошла: из этой гадкой жизни, уходила, убегала, — оставляла в ней себя, ту, которой она была, мусорную, никчемную. И на ходу, подходя к дверям с белой красивой лепниной, она сорвала с себя жемчужное ожерелье и швырнула его на паркет, и бусины живо и весело раскатились по паркету и закатились в темноту.

Чужие руки накинули на нее шубу. Чужие руки распахнули перед ней дверь. Она уже сбегала по лестнице, когда вслед ей раздался резкий, грубый голос: ку-да?! Бэ-жишь?! ну и бэ-ги! Я сэ-годня нэ приду на-чивать да-мой! Может, этот голос ей причудился.

Она хотела идти до Кремля пешком, пошла и заблудилась. Удалов незаметно, медленно ехал за ней по вечерним улицам. Вспыхивали и гасли фонари. Сугробы ал-

мазно горели в их скудном жалком свете. Женщины везли из бань на санках детей, обвязанных шальями. Дети держали в руках резиновые пищащие игрушки. Ма-ма! Па-па! Бо-же! Спа-си!

Надя остановилась и развела руками. Будто сама себя спрашивала: кто я, что я тут делаю? Шофер осторожно подъехал к ней. Она стояла на кромке тротуара так одиноко, потерянно. Куда бежать? Есть ли дорога? Дверца машины открылась, ее позвали внутрь. Ей было все равно, кто это: таксист, знакомый, друг, убийца. Она упала на сиденье, и ей показалось, это упал мешок с картошкой. Полы шубы расползлись в стороны. Она глядела на свои красивые, смуглые голые ноги, обтянутые тонкими шелковыми чулками, и повторяла себе молча: никогда больше. Перед ним — никогда.

Шофер довез ее до Кремля и въехал в Кремль через Боровицкие ворота.

Подъехал к зданию Сената. Квартира Сталина располагалась на первом этаже.

Вас проводить, предложил шофер, она махнула рукой: иди уже! — пошатываясь, в расстегнутой шубе, пошла к могучей дубовой двери, и вошла в коридор, и шла, щупая стены, и на ощупь нашла дверь к ним в жилье, а может, по запаху, а может, по ненависти, что в ней вдруг поднялась и затопила ее до лба, до затылка.

* * *

Все вещи были на месте, они были все те же самые, что и всегда. Она была другая. Она готовилась к побегу.

Так. Сосредоточиться. Надо собраться. Что с собой взять в дорогу?

Мысль мелькнула и потерялась, и без мыслей, лишь с одной сверлящей болью внутри, и боль все разрасталась, сладу с ней не было никакого, она пошла по их комнатам, заглядывала везде, вот столовая, а вот кабинет, а вот зал для приема гостей, а вот детская, а вот еще неизвестная комнатенка, а, она вспомнила, это хотят сделать Васечке слесарную мастерскую, а станки уже привезли? нет? ну все уже без нее, она уже ничего не увидит, — и так дошла она до заветной тумбочки, где стоял телефон, и сняла трубку, и недолго думала, какой ей номер набрать, набрала номер дачи в Зубалове, она его еще помнила.

В трубке пели гудки. Они пели ей аллилуйю.

— Лейтенант Саврасов у телефона!

Надя судорожно сглотнула.

— Это Надежда Аллилуева. Товарищ Сталин на даче?

— Так точно!

— Один?

— Не один.

— С кем?

Она смотрела в стену, как сквозь стену.

Лейтенант помедлил.

— С женщиной.

Рука, висящая вдоль тела, сжалась в кулак.

Рука, держащая трубку, побелела.

— Ее имя!

— Товарищ Аллилуева, я не имею права...

— Ее имя!

— Вера Давыдова.

— Вера Давыдова!

— Певица, товарищ Аллилуева.

— Что они делают?

— Беседуют и едят фрукты. Да вы не беспокойтесь, товарищ...
 Рука швырнула трубку на рычаги.
 Другая рука закрыла беззвучно орущий рот.

* * *

Тем более. Тем более надо убежать. Убежать навсегда. Насовсем.
 Чтобы не догнал.

Ни с овчарками; ни с ищейками; ни с таблетками от головной боли, заботливо врученными кремлевским врачом, которую засунешь под язык — и через полчаса твой труп увозят в морг; ни с обедом у товарища Ягоды, с бифштексами с кровью и с запеченной в духовке стерлядью, после которого ты корчишься в диких муках, потом исчезает дыхание, и тебя, холодную и синюю, опять же увозят в морг при Бутырской тюрьме. Туда увозят всех, убитых по приказу твоего мужа. Ты есть, и вот тебя нет. Сталин не сильно огорчится, если сам убьет тебя. Детей ты ему родила; хорошо, не пятерых, но он еще свое наверстает. После тебя.

После нее. Что значит после? Она убежит, и сама для себя она будет. Останется.
 Ее не будет только для него.

А правда, где дети? Какая разница где. Может, нянька повезла их в детский театр. На спектакль Натальи Сац. А после театра они поехали к Ворошиловым, доедать остатки праздничного обеда, да там и заночевали; у Климента квартира большая, что тебе особняк.

Ходила по комнате из угла в угол. Натыкалась на мебель. Мебель вздувалась, раздувалась до невообразимых размеров, но все никак не лопалась, а Надя ждала, когда же она лопнет и разлетится, как разбитая посуда. О! Посуда! Она еще не разбита? Надо ее разбить.

Подошла к шкапу. Распахнула застекленную дверцу. Вынимала тарелки, хватала с полка, разъяренно, а взгляд, холоден и чист, летал над проклятыми вещами, размахивалась, швыряла тарелки на пол, швыряла об стену, и они бились с грохотом, фарфор взрывался, хрусталь рассыпался водопадными брызгами, белые осколки летели в стороны, это была ее маленькая тайная война, и здесь, в атаке, она должна была победить. Певица! А может, и ей спеть? Она раскрыла рот, ловила воздух, вдохнула судорожно и глубоко и затянула: сакварлис саплавс ведзебди, вер внахе дакаргулико, гуламосквнили втироди, сада хар чемо Сулико? Я могилу милой искал, но ее найти нелегко. Почему она видит перед собой какого-то непонятного, из тьмы на нее летящего, бородатого мужика? Сивый мужик, весь в морщинах, и улыбается; он улыбается ей и тихо шепчет: милушка, чево табе принесть для-ради радости, уж больно ты грустна севодни! хочешь, я табе мандаринку с барскова стола украду? и сам-от очишу! и с ладошки табе скормлю! Долго я томился и страдал! Где же ты, моя Сулико?

Она пела хрипло, страшно, хотя хотела выводить эту южную, с детства любимую мелодию четко, чисто, а чисто не получалось, получалось все равно грязно, не бывает сразу чисто, надо по уши вывозиться в грязи, прежде чем наступит сияющая чистота, и потом, как муж ей все время твердил, революцию не делают в белых перчатках, и добавлял: меня так сам Ленин учил! ну, если сам Ленин, так что же тут и говорить, все слова исчезают! Исчезают, вместе со словами, и крестьяне с немытого, грязного лика земли! Исчезают, плача в голос, трясаясь на подводах, и подводы увозят, увозят их от родных мест туда, где они сразу умрут — в тайгу, в тундру, в холодные горы! Хозяина убивают из аккуратного нагана у семейства на глазах. Семья сидит в подводе, а куда поедут без лошади? ее тоже убили! Ревут, глотки надрывают! И чтобы не слышать криков, люди в черных тужурках стреляют и тех, кто в телеге. Кровь? да

что кровь! мы ее навидались! мы к ней привыкли! Кровь — это всего лишь варенье из клюквы! Это красная камчатская икра на званом обеде у товарища Ворошилова!

Убежать. Это хорошо она придумала.

Надо всегда убегать от ужаса.

От гадости. От пошлости. От грязи.

От грязи?! А если эта грязь — твоя родная земля?!

...Ты от земли не убежишь. Ты — по ней побежишь. И ты на нее упадешь. И ты в нее ляжешь.

В эту, родимую, скользкую, холодную, дикую грязь.

В этот чернозем, как твои крестьяне, вон они падают около вырытых ими самими для себя самих могил — около ям, где истлеют все их силы, вся их любовь к своей земле — падают, падают, будто кто их косит, как в ту войну, из пулемета, падают истощенные, падают с проклятиями, и за их спинами, за потными их лопатками падают лошади, коровы, ягнята с тонкорунной шерстью, а шерсть вся в грязи и крови, — ягненка тебе жалко, а человека не жалко?! Ямы! Вся земля в ямах. Зароют. Забудут. Неужели дальней, непредставимой весной эта земля, в которой — вся убитая жизнь, зацветет, зазеленеет и будет ждать заботы и любви?

Я не могу жить в ужасе, я устала от ужаса, шептала она, и все запускала руку в шкаф, и все била посуду. Посуда заканчивалась. Она перебила все тарелки, блюда и чашки, осталась одна, последняя чашка. Она из нее пила. Это ее чашка. Она взяла ее в руки и рассматривала ослепшими от ярости глазами. А! Она пила из нее еще там, в усадьбе!

Она заглянула в чашку. Там, на ее дне, она увидела мальчика. Мальчишка был такой веселый, она ни у кого не видала такого веселого лица. Он смеялся, раззявив рот, по его носу гурьбой бежали веснушки, и ноги его босые бежали по голой земле, по плотному красному ковру палых листьев, он бежал, раскинув руки, как летел, и лицо его качалось на дне чашки, и вдруг это лицо обратилось в лицо товарища Глебова. Товарищ Глебов, а вы-то как здесь? вы же здесь никогда не были! Лицо военного человека, упрямой военной косточки, всплывало со дна, она поднесла чашку ближе к глазам и перевернула, и там, с изнанки, где на фарфоровом дне печать завода, тоже моталось оно, она испуганно повернула чашку боком — и на ее выгибе тоже блестяло, потное, это мертвое живое лицо. Пухлые губы, как после плача. По боку чашки плыли, плыли лица — вот усатое лицо ее Сосо, это юг и сбор винограда, и он несет ей темно-красную, кровавую лозу, и она ест ягоды прямо у него из руки, высасывая сладкую пьяную кровь, а за спиной Сосо голые по пояс люди в больших деревянных корытах-сацнахели давят виноград босыми ногами, топчут его, убивают его. Кровь! Льется красная кровь. Кровь, сказал Карл Маркс, это лучший человеческий материал, это лучший цемент для всех кирпичей жизни, он намертво скрепляет все!

Товарищ Глебов, вы же не Сосо, вы же не мой муж, зачем вы на него так похожи? зачем вы отрасли усы, вам без усов было лучше! не смотрите так на товарища Сталина, вам за ним все равно не угнаться! ни за его любовницами, ни за его жестокостью! Убежать от жестокости, вот что хотела она. Разве это постыдное желание женщины, просто уставшей от боли женщины?

Тифлис, и давят виноград, и льется винная кровь, и в нее можно окунуть руки, а кто там стоит за громадными деревянными сацнахели, похожими на длинные гробы, кто? она узнала! это отец и мать! родители, вам нужен юг! вам нужно солнце, вы без солнца не можете! Зачем вас держат в темной, страшной квартире в Петрограде? А, это уже давно Ленинград! Верно! Ленин... град... Ле-нин... Ле...

Голова ее матери мелко тряслась в плаче, кого она оплакивала? ее? но ведь она же жива, и с ней ничего не случится! отец обнимал мать, и тоже сгибал над ней спину,

и тоже рыдал, да что же вы все плачете, чье имя повторяют ваши сухие, в морщинах, губы? Все со временем морщится. Все покрывается язвами, пылью, плесенью!

И за слоями плесени и пыли, за горами разбитого в пыль фарфора, за битыми стеклами пустых шкапов и огромных окон во тьму, за лицами людей, что хороводили вокруг нее, как вокруг голы, без серег и ожерелий, черной елки, за частоколом берез, за белыми гладкими колоннами она увидела эту лысую голову. Глаза, один хитро прищуренный, другой страшно выпученный, полетели в нее, быстро приближались, вот уже глядели ей в глаза, вот уже ложились под ее теплую щеку, под дрожащие губы.

Она раздула ноздри и ощутила запах тления. В слове «тление» хранится имя «Ленин».

Он не мог не прийти, выплыть из тьмы за окном, из последней чашки, ее собственной, личной, потому что он и был ее собственной, личной, бережно хранимой ею тайной. А какая, впрочем, тайна? То, что они однажды убежали из усадьбы? Да они просто гуляли. Гуляли и в деревню забрели. Должен же вождь знать жизнь своего народа. Мужиков и баб. Своя земля, свои крестьяне. Они все равно господа. Они выкинули из усадеб и расстреляли помещиков, а сами вселились в их усадьбы и дворцы и жируют. Сталин вчера приказал подать им на обед камчатских крабов, солянку из свежей телятины, ананасы дольками и ястычную икру, а еще байкальских омулей, ему прямо с Байкала в корзинах со льдом привозят, летит на всех парах курьерский поезд. А на Украине голод! А на Волге голод! Люди как мухи мрут! Нянька, она у них из Енакиева, шептала с ужасом, прижимая ладонь к губам: на улицах по городам и станицам трупы лежат, не успевают убирать, и смердят. Эпидемии пошли. Матери — детей едят!

Матери? Детей? Едят...

Она еще раз взглянула на лицо Ленина на выгибе чашки. Размахнулась и изо всех сил, какие нашлись, бросила чашку об пол.

Осколки посыпались ей под ноги и брызнули в лицо. Она поглядела в шкаф. Пусто.

Пустой и легкой стала жизнь. Плыла вокруг нее и мимо нее. Звала с собой.

Убежать, да. Она все помнит. Убежать.

Только это одно и осталось.

И когда Ленин исчез, когда разбилась память, он шептала памяти: прощай! — и металась по комнате, она уже себе не принадлежала, а всецело принадлежала властной воле побега. Все, кто возник из мрака перед ней и успел поглядеть на нее, все опять бежали, и она уже не понимала, они бежали с ней или бежали прочь от нее. Она бежала по комнате, и комната раздвигалась до величины коридора, и коридор разрастался до размеров дворца, и по стенам дворца змеились трещины, он разваливался на фарфоровые осколки и оседал в густую пыль, и она наконец выбежала на простор, а простор был седой и холодный, он ее пугал, по нему нельзя было бежать безнаказанно, голые ноги жег снег, над головой горели ледяные звезды, и вдали сухо звучали выстрелы, и падали, падали люди в отрепьях, в мешковатом рубище в сугробы, на черную наледь, на взгорки и в лощины, и сталкивали их военные люди ногами в ямы, черными сапогами, и она понимала, куда же она прибежала, сюда бежать ни в коем случае было нельзя, это ледяная земля, тут гибель, тут человека больше нет, а есть только боль.

И огромная боль обняла ей голову, обхватила колючими ладонями, иглы глубоко вонзались ей в виски и в лоб, она закричала неистово: куда же мне бежать?! — а на снег лилась пьяная винная кровь, и стоял на снегу в одном исподнем белье безногий парень, его отрезанные ноги были обмотаны грязными бинтами, он стоял и смотрел на тех, кто сейчас будет в него стрелять. Стрелять, шептала она себе, убегая по колючему снегу, надо стрелять, но у меня ведь нет оружия! Где мое оружие? где?

Под руки любезно подсовывались ручки, створки, дверцы, полки. Руки шарили, судорожно искали. Нашли. Сгусток металла. Пистолет, игрушечный? может, сына? настоящий!

Она подняла «вальтер» ближе к лицу, разглядывала, словно хотела увидеть и в нем ту свою личную тайну, что бесследно исчезла в вихрях снега.

Чей пистолет? Иосифа? Ее? Кто его ей подарил? Где ее память?

Память убежала, а она еще здесь? Надо торопиться.

Комната, величиною с тайгу, шумела на ночном ветру. Снег мерцал, и звезды мигали. Ей лукаво подмигивали. Снег и звезды составляли одно целое, мешая землю и небо в один искристый клубок. Земля и небо, лохматые, мохнатые, это был труп собаки, походя застреленной охранником. А вон и людские трупы, неподалеку! Снег выгибался внутрь, и снег выпячивался наружу, как парализованный, стеклянный глаз вождя. Тайга гулко, дико шумела. Ветер поднимался. Ветер вертел белую бороду мужика: он дополз до девушки, лежащей на снегу, и, кряхтя, лег на нее. Прижал ее своим еще теплым телом к снегу. Раскинул руки. Умирал. Девушка под мужиком стонала. Надя бежала, бежала к ним, добежала, стояла рядом, глядела с ужасом и думала: ведь это последняя любовь мужчины и женщины, как люди допустили такое? Кто в будущих веках узнает об этом? Она сейчас убежит, унесет с собой тайну, и никто не узнает.

Девушка и смерть, девушка и снег. Мужик заскреб ногтями жесткий снег и затих. Застыл. У девушки черные волосы развилась, лежали на снегу. Застыли черной кровью. А может, ей выстрелили в голову, и из-под затылка черная кровь разливалась, и над снегом вился пар. Сильный мороз. Руки стынют. Трудно поднять пистолет к виску. Она приставила к виску ствол «вальтера». Висок свело холодом. Девушка на снегу пошевелилась. Медленно, отталкивая чужое мертвое тело ладонями, выползла из-под мужика. Надя смотрела то на девушку на снегу, то на пистолет, нет, в голову нельзя, она слишком болит. Надо стрелять туда, где хранится самое дорогое. Где хранится ее тайна. В сердце.

Девушка на снегу наклонилась над мертвым сивым мужиком и смотрела ему в мертвое лицо. Босые ноги мужика странно вывернулись, будто их перебили в коленях и сломали в щиколотках. Надя тоже глядела на мужика и видела лицо своей тайны. Мертвые глаза мужика летели с земли в звездное небо. Их никто не мог закрыть. Слезы девушки капали мужику на щеки и бороду. Надя держала «вальтер» обеими руками. Поднималась метель, она заволакивала ей глаза, и она опять улыбалась, улыбаться, это она хорошо придумала, улыбка спешит со счетов все, что сделано в жизни гадкого, подлого. Улыбкой очистишься. Улыбайся сердцем. Да, сердце. Вот оно.

Она нащупала холодным железом то теплое, что быстро, обрывисто билось под кружевной кофтой, под рукой. Девушка на снегу легла лицом на лицо мертвого мужика. Ветер вил его сивую бороду. Парень с отрезанными ступнями, бинты размотались и волочились по снегу, вскинул руки и покачнулся, Надя не слышала залпа, но видела, как на груди парня, по исподней рубахе, расплывалось широкое винное пятно. Вино, на радость нам дано! Она, чтобы подбодрить себя, запела модную песню Петра Лещенко. Проходят дни и годы, и бегут века. Уходят и народы, и нравы их, и моды, но неизменно, вечно лишь одной любви вино! Пускай проходят века, но власть любви велика... она, как море, бурлит... она сердца нам пьянит... Парень пал на снег. Он уже никуда не мог убежать на отрезанных ногах. Любви волшебной вино... Как это, она забыла...

Она сняла пистолет с предохранителя. Взвела курок. Палец ей обжигал спусковой крючок. Льдом? Огнем? Во льдах горят костры. Безногий парень лежал на снегу.

Звезды сыпались на него, катились слезами. Все в мире есть огонь и слезы, лед и смех. Кто посмеется над ними всеми там, во тьме?

Она все приготовила к побегу. Все вещи в сумку уложены. Вся еда покоится, завернутая в промасленную бумагу и в фольгу, в старом отцовом ягдташе. Владимир Ильич, мы завтра бежим! Зачем завтра? Надо сегодня! Хорошо, сегодня! Сейчас! Дайте мне руку. Мне страшно одной. Я не хочу быть одна. Надя, держи мою руку! Надя, да ты и не одна, я с тобой! Надя, с тобой целая страна! Бежим! Вперед!

Она нажала на ледяной спусковой крючок. Выстрел прозвучал почти бесшумно, сердце раскрылось. Оно мгновенно вобрало в себя все — боль, радость, свежее вино, ее раскинутые в постели ноги, в любви, и в родах, и в мучительных абортах, снег, выстрелы, застолья, парады, пощечины, поцелуи, клавиши пишущих машинок, пулеметные очереди, знамена, да, наверху, над ней, плыли замена, они прорезали густой красной снежную мглу, а потом упали вниз, обняли ноги трупа, что так и не похоронен, обняли железный саркофаг и черный лабрадор и так застыли, превратились в красный мясной гранит, режь мясо ножом, руби топором, пили пилой, все равно не разымешь на части, все едино, все это она, все в ней, — и ноги, что в сапожках на шнуровке бегут по палой листве, и красные, золотые листья, и маленький лысый человек, лежащий на лавке в голой безумной избе. Сердце вобрало все и ужаснулось: как много я умею вместить! Я, одно, такое маленькое, птичье! Сердце убегло вон из нее, оно хотело свободы, и перед тем, как слепые глаза заволкло последней болью, она увидела свою свободу: огромную фреску веселой Москвы на выгибе небесного мощного купола, чугунное коромысло Замоскворецкого моста, и Ленин стоит рядом с ней под солнцем, река блестит, фуражка съехала у него на ухо, кричат машинные клаксоны, кричит торговец: «Наилучшее лакомство всего мира — наши родные папиросы „Ира“!» — кричат дети, резво бегая вокруг толстых ног няньки, кричат на катерке матросы, взмывает бумажный змей в синее, бедное осеннее небо, она смотрит на Ленина, он смотрит на нее, и так они стоят у воды, у солнечной ряби, смешные дети, живые флаги революции, священные, в крови, хлебные, для голодных голубей, крошки, красные фантомы, бумажные золоченые игрушки с колючей проволоки-елки, несчастные зимние птицы, жизнь в жизни, рука в руке.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИВАН

Я кутепав иван федаровичь пишу ето карандашем набумаге каторую дали мне милость ради вохранцы. Хачу записати важно можит ето каму надоть будит. Калыма началас вбухте нагаева и на зеленам небе ярко свитили звезды. Мы все нещасны зэки видали сазвездие большей медведицы и адин нам говарит ето надо позвездам запомнити место игде мы а втарой иму гаворит накаой хрен всеравно отседова не сбежиш. Пашли рядком на транзитну пирисылку магадан весь деривянный и чувство такое быдто вохранцы стаять на кажным шагу. Патом павезли на прииск давели да лагиря лагирь ужаснай назабори калюча провалока а уместо дамов палатки стаять толька два барака и окна в их зарешечены. Тьма все времячко а сабаки лають душа рветси. Адежду на пра жарку взяли патом атдали и мы заснули как убиты. На другой день пагнали капать каналы для атапления там чинили атапление. Вохра ареть нанас шах влева стреляю шах вправа стреляю я у бригаде самай маладой и курить хочица все времячко мужики мне махорку даставали и сами курили. Палатки заваливало снегам унутри нары и па две печки жалезных работам пачитай двацать часов день четыри часа

спим падъём кагды так и не встаниш бьют крепко тагды встаеш. Драва тяжка зага- тавливати для печек ищем сушняк ежели мало приносиш тибя бьют апячь смертнам боем. Абслуга лагерна адне воры убивцы жулье прахвосты ножами нас пыряют из- диваюца. Вся зима туман марозы крепки шпарять пейсят градусов и выши сонца не видим многи па сонцу плачуть сонце выглинет изза сопки и спрячеца а нам работать а чем греца толька кастрами жгем кастры всю дарогу толька падайнеш к кастру на тиб- бя аруть прочь ат кастра фатит греца. А то аруть эпидемия и всю амуницию сожеч разажгли кастер грамадной и ну давай брасать туды бушлаты шапки верхонки бурки да все в чем адеты. Кармежка жуть во шах качерыги а то кулеш авсяный сунуть в хле- бе зубы вязнуть над пайкай тряссеси как над золотом. На работу гонять раздетых ат голода проста помирам нелюди мы все тут а скилеты кажнай божей день па двацать пакойникав вывозють мы с наров стаскивам и укладывам на пол и сообщам началь- ником я уж привык перешагиваш чрез трупы идеш налить баланды и котелок несеш абратно и апячь чрез трупы перешагнеш сядиш и рядом с ими еш. Я думаю кажнай божей день придеть и мине черет. А ниhto всеодно сталина не ругат все думают оне сюды папали пашибки. Бурим в ручную жгем кастры штобы не здохнути я нашу стру- менты и вaju тачку тачку вазити ето страшной трут проста катаржнай. Трупы атво- зять кудыто и аднажды адин наш таварищ абнаружил штабеля трупав за зонай мы глядели натрупы и в друг видеам адин мертвяк глядять нанас мы аж вштаны наклали. Мы взяли ево и патасили и да лагиря даташили и атагрели к кастру паклали и он аташел и васкрес ево фамилие клецов. Висна тут така морозы пад трицать градусов летам снег лежить а у нас нарот мечтат вырваца отседова и прибыть в маскву и все што тут тварица таварищу сталину и калинину расказати. Висной нас всех жрет цын- га у всех уж сажрала зубы и десны и болить страшнокак а тут к нам в лагирь узбекав привезли так ани мерли как мухи мы еле успевали трупы зазону таскати. Я тут забал- лел палажили влазарет патом паставили на лехку работу топити в бане в катлах снег и лет. Мы тут забыли што такое газеты писма ат радных нам не носят видна гдей- то жгуть штоли. На нагах у мине вскачили черныи пятна ето думая умру завтре и я даже заплакал ат радости што умру. Снами тут работат китаиц звать ево ван- гоан а мы кликам ево вания и он гаворит мине ты вания и я вания мы обое вани и мы смеемси а сами дохадяги. Етот вания китайскай стират и гладит билье для начальничь- кав а иму зато дають масла хлеба и канфет и он все ето нам в палатку приносить. Я ад- нажды с ним вместе билье гладил а он мине и гаворит мы стабой гаворит как бабы пря- ма. Баб нету и мужики смужиками спать запростяк сто раз уж такое было. Хлеб дають а в хлебе запеченыи тараканы аткусиш кусок а там таракан выковыряш ево и чуть ни сблеванеш. Мерли мы и далше как пряма мухи а тут ишо приказали на падводы са- дица говарять приказ и переезжам на ново место весь лагирь мы пагрузилис лошади пашли и тута внас зачали стреляти агонь аткрыли панас. Люди падали кричали жутка я упал с падводы и паполз полз полз полз руки ноги все абмерзли и далше непомню ничиво. Помню ачнулси вбальницы и у мине уже ног нету. Больна очень я плакал но слезами горю непаможиш. Там лежал я лежал и миня всеравно атыскали. Лагир- но начальство прикатило и забрали апячь. Я накастылях плохо щас хажу. А тут кнам привезли партию баб и в женску часть лагиря паместили и там адна деушка я вние влюбилси. Пранесси слух што нас атвезут в спициальны палатки наапушки и там на- ноч аставят здыхать. А у деушки той на груди сахранилси крест и мы все шли палзли кней в палатку ие крест цаловати. Я пацаловал крест пряма уней нагруды. Ночиньки темны стоять зима лютая тьма кругом адна снег адин сият. Жуть адна паземка ноги абнимат а я думаю галавой кумекаю игдеже нам с ней встретица и вот я придумал зазвал ея вморк морк на атшибе стаит и ночью я ей свидане назначаю. Морк ето така палатка атдельна абкладена досками и там внутрях трупы лежать совсиво лагиря туды

их ташать. Сижу жду уж задубел совсем и вот ана идеть и у мене внутрях все рухнуло втартарары. Темень ана вашла я слышу я зажог спичьку деушка схватила мене заруку и мы оглядывамси всюду адне трупы грудами лежать. Вот како любов наша среди мертвякоф а делать нечиво ана на май ноги отрезаны глядять и на кастыли и я нанее гляжу и плачим мы обое. Така наша любов была и адна едина на всю жись. Пашел я всюю палатку и невидал ие а наутро пришли и приказали выти мы вышли я далеко вталпе ие увидал а ана миня нет я рукой махал ей напрасна. Талпу ту пагнали в аднусторону нас в другу на работу. Их же насмерть погнали так думаю. Завтра и нас пагонють. Смерть ана тута визде куды взор ни кинь визде падстерегат виздесуща. И вот я заканчеваю сваи коракули писати ето я зделал длятаво штобы ежели каму ета записка вруки пападет тот понял все што тут снами делали и ищо снами са всеми зделают. Наминутачку паказалоси мне што я в лагире видал нашево дядку епифана сним мы работали вместе в усадбе в селе горки у володимера илича ленина. Володимер илич знать не знат мертвай в мовзалее лежить што с ево народам таварищ сталин выделяват. Володимер илич нехател никагда такова ужаса для своо народа. Вот бы вастал володимер илич из мертвых да пасматрел што у нас встране делаца ево чесным именем да не вастанет мертвы невастають из магил. Пращайти все люди народы кто винават кто невинават все невчем невинаваты всех пращаю и дажи тех кто мне стриял и ищо мне завтра убьеть. Бох вам всем судия. Пращайти всех люблю и цалую. Деушка мая мы с табой скоро стренемси я знаю нанебесах есь жись. Тама лучче чем наземле. Таварищи пралетарии всех стран саединяйтися и баритися против ваших врагов! Астасюь кутепава иван федаровичь тыща девитсот тринацатова года раждения село горки масковской области.

ЕПИФАН

ЗДРАВСТВУЙ НА МНОЖЕСТВО ЛЕТ ДОРОГАЯ НАСТАСЬЮШКА ДОРОГИЕ
ДЕТКИ И ВСЕ ДОРОГИЕ РОДНЫЕ

С ПРИВЕТОМ КВАМ ТВОЙ МУЖ И ВАШ ОТЕЦ ЕПИФАН СТЕПАНОВ СЫН
ПЕТРОВ

НАДЕЮСЯ ШТО ПИСЬМО ДОЙДЕТ ДО ВАС

НА ПАРАХОДЕ ПЛЫЛЕ ВТРЮМЕ

АЗЕРБЕЖАНА ЗАБИЛИ ДОСМЕРТЕ

Я РАЗДЕМШИ ФУФАЙКУ УКРАЛИ

ПОКА ВЛАГЕРЬ ЧАПАЛИ СПАЛИ НА МХУ ЕВО ОЛЕНИ ЕДЯТ

КЛАГЕРЮ ПОДХОДИМ ВАКРУГ КОСТИ ЧЕРЕПА ИХ СОБАКИ ГРЫЗУТ

СУДЬЯ ТАЙГА ПРАКУРОР МЕДЬВЕДЬ

ЛЕДЯНЫ СТОЛБЫ ВАКРУГ ЛАГЕРЯ СТОЯТ ЕТО ТРУПЫ ИХ ВОДОЙ ПОЛИВАЛИ

МЕНЯ НА ПОБЕГ УЛЕЩАЛИ ВСЕ ОРАЛИ БЕЖАТЬ ОТСЕДА НАДО

БЕЖАТЬ КРИЧАТ НАДО А ТО СГИНЕМ ТУТ ВСЕ

ОДИН УЖ ОЧЕННО РАТОВАЛ ЗА ПОБЕГ

Я ГРЮ А ПОБЕГИШЬ НЕ ПОГИБНЕШЬ ШТОЛЕ

ОН ВСЕ ОДНО УБЕГ И ДРУГИХ БЕЖАТЬ ПОДГОВОРИЛ

УТРОМ ВСТАЕМ НА ЛИНЕЙКУ НАС ПОГНАЛИ СТРОЕМ ЗА ВАХТУ А ТАМ ГОРА
ТРУПОВ

КРУГОМ ТОЙ ГОРЫ НАС ВСЕХ ОБВОДЮТ

И КРИЧАТ ЕЖЕЛИ УБЕГЕТЕ С ВАМИ ТАКЖЕ БУДЕТ

И ШЛАНГОМ НАС РЕЗИНОВЫМ ЛУПЯТ

ДВА ДНИ НЕ КОРМИЛИ

ПОТОМ ЖРАТЬ ДАВАЛИ ОВЕС И СЕЧКУ ЯЧМЕННУ

ВШАХТУ СГОНЯЛИ А МЫ ДУМАМ ВШАХТУ ГРАНАТУ ШВЫРНУТ И ВЗОРВУТ
НАС ВСЕХ К ЕДРЕНЕФЕНЕ
МОРОЗ СЖИГАТ НАС ДЕННО И НОЩНО ЗАМЕСТО ТЕЛА ЧЕРНЫЙ ФИТИЛЬ
СНЕГ НАД КОСТРОМ НА ЛОПАТЕ РАСТОПИШЬ ВЫПЬЕШЬ СЛОПАТЫ
НИ РОДНИКА НИ РЕЧКИ РЯДОМ
ОДНА ОХОТА ПИТЬ
И ЕСТЬ И СПАТЬ
ХЛЕБ ПРИБЕРЕГАМ А ХЛЕБ КРАДУТ ИЗ КАРМАНОВ КАК ДЕНЬГИ
В БАНЮ ВОДИЛИ ОДЕЖКУ НА ПРОЖАРКУ ГНАЛИ ОТТЕДА ГОЛЫХ ПО
МОРОЗУ
ИДЕШЬ ПО МОРОЗУ А БУДТО ПО ОГНЮ ТАК ТЕЛО ПЫЛАТ
И ТАК НЕ ДНЯМИ А ВИТЬ ГОДАМИ
СКОЛЬКО ИЩО ВЫДЕРЖУ НЕ ЗНАЮ
ЗУБЫ ВСЕ ВЫПАЛИ ПОДЫХАЮ
РЯДОМ СО МНОЙ ПОКА СПАЛ НА НАРАХ ЗАРЕЗАЛИ ЧЕЛОВЕКА А ПОТОМ
ИЩО ДВОИХ
ОПЯТЬ УБЕЖАЛИ ПЯТЕРО ИЗ БАРАКОВ
НАШЛИ ИХ В ТАЙГЕ ОНИ ДВОИХ УЖ ИЗЖАРИЛИ НА КОСТРЕ ДА СЪЕЛИ
Я ТУТ ОДИН МОЛИЛСЯ БОГУ ВСЕ ОСТАЛЬНЫ МОЛИЛИСЯ СТАЛИНУ
ГОВОРИЛИ ВОТ ЕЖЕЛИ БЫ СТАЛИН ЗНАЛ ПРО ВСЕ НАШИ МУКИ
Я УЖ МОЛЧУ НИЧЕВО НЕ ГОВОРЮ ИМ
КРЕСТИЛСЯ НОЧЬЮ ГРУДЬ ПОД РУБАХОЙ КРЕСТИЛ ШТОБЫ НЕ ПОНЯЛИ
ШТО КРЕЩУСЯ ПУСТЬ ДУМАЮТ ОТО ВШЕЙ ЧЕШУСЯ
НА РАСТРЕЛ НАШИХ ТОВАРИЩЕВ ВЗЯЛИ ОНИ УГОЛЬ УШАХТЕ УКРАЛИ
ПОДТОПИТЬСЯ ЧУТОК
ИХ РАСТРЕЛЯЛИ А Я ПЛАЧУ ОБ НИХ ОПОСЛЯ ЗАСНУЛ
И СНИЦА МНЕ ПРОРОК ДАВИД КАК ЕВО У ПСАЛТЫРИ РИСУЮТ
В КОРОНЕ С БОРОДОЮ И В РИЗЕ
НАЯВУ ЕВО ВИЖУ
СЕЛ Я НА НАРАХ БОРОДУ ВСКИНУЛ ГЛАЗА СЛЕЗАМИ ЗАСТЛАЛО И ГОВОРЮ
ОТЧЕ ДАВИДЕ ВЫТАЩИ МЕНЕ ОТСЮДА
А ЦАРЬ ДАВИД ГОВОРIT МЕНЕ МУКИ ЗА ХРИСТА ПРИМЕШЬ
Я СМИРЕННО ГОЛОВУ ОПУСТИЛ И ЗАКРЫЛ ГЛАЗА
НАСТАСЬЯ ВОСПИТЫВАЙ ДОЧЕК В СТРАХЕ БОЖИЕМ
НИКОВО БОЯЦА НЕНАДО ОКРОМЯ БОГА ГОСПОДА НАШЕВО
СПАСИ ГОСПОДИ ВАС ВСЕХ И СОХРАНИ
АМИНЬ